

Б И Б Л И О Т Е К А



ОГОНЁК

ISSN 0132-2095

№ 28

1989



Александр ЧАЯНОВ

**РОМАНТИЧЕСКИЕ
ПОВЕСТИ**

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 28

Издается с января 1925 года

Александр ЧАЯНОВ

РОМАНТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Александр ЧАЯНОВ
(1888—1937)

Александр Васильевич Чаянов родился 17(29) января 1888 г. в Москве. По окончании реального училища был принят в Московский Сельскохозяйственный институт (ныне Сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева). В 1911 г. А. В. Чаянов получил звание «ученого-агронома первого разряда» и был оставлен при институте для продолжения научных занятий. В 1913 г. стал доцентом, а с 1918-го — профессором академии, многие годы возглавлял кафедру организации хозяйства. С 1922 по 1928 г. А. В. Чаянов руководил Научно-исследовательским институтом сельскохозяйственной экономики и политики, объединявшим ученых-экономистов «организационно-производственной школы». На протяжении 20-х годов он принимал активное участие в работе Госплана, занимал ответственные посты в центральном аппарате Народного комиссариата земледелия.

Со студенческих лет А. В. Чаянов включился в кооперативное движение, став с середины 10-х годов одним из его ведущих идеологов и руководителей. С его именем связана разработка важнейших теоретических и практических проблем крестьянской кооперации в России, создание ведущих кооперативных организаций и объединений.

Большую научную и организаторскую работу А. В. Чаянов успешно совмещал с активной педагогической деятельностью. Многие годы он читал специальные и общеобразовательные курсы лекций в различных высших и специальных учебных заведениях Москвы — Сельскохозяйственной академии, Коммерческом институте (ныне Институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова), Городском Народном университете имени А. А. Шанявского, Кооперативном институте, МГУ, Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова и др.

А. В. Чаянов получил широкую известность как общественный деятель и активный участник культурного строительства. Он был видным членом Московского общества сельского хозяйства,

Лиги аграрных реформ, Комитета по охране художественных сокровищ России, Общества любителей старины, общества «Старая Москва», Русского общества друзей книги и др.

А. В. Чаянов был не только страстным коллекционером и библиофилом, но и глубоким знатоком русского и зарубежного искусства, серьезным исследователем истории Москвы, увлекался археологией.

21 июля 1930 г. А. В. Чаянов был арестован, а 26 января 1932 г. вместе с группой своих коллег осужден по сфабрикованному обвинению в контрреволюционной деятельности и выслан в Казахстан, где в течение некоторого времени продолжал свою научно-практическую и педагогическую деятельность. В 1937 г. ему были предъявлены новые политические обвинения, а 3 октября он был расстрелян. 16 июля 1987 г. А. В. Чаянов вместе с группой ученых-аграрников был посмертно реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

Имя А. В. Чаянова хорошо известно в мировой экономической науке, он является автором почти двухсот печатных работ, посвященных вопросам районирования сельского хозяйства, кооперации и другим проблемам сельскохозяйственной экономики, искусствознания и истории. Многие из них еще при его жизни были переведены на большинство европейских и японский языки. Особое место в чаяновском наследии занимает литературное творчество. Его перу принадлежат сборник юношеских стихов, пьеса, киносценарий, социально-фантастический роман-утопия, пять «романтических» повестей, написанных под влиянием поэтики любимого им Э.-Т. А. Гофмана. В них тонко воспроизведены язык пушкинского времени, быт и топография старой Москвы. При жизни автора повести были опубликованы под псевдонимом «Ботаник Х.» малыми библиофильскими тиражами и с тех пор не переиздавались.

В настоящее время различными издательствами готовится ряд переизданий избранных экономических трудов и художественных произведений А. В. Чаянова.

Р. М. Янгиров

ВЕНЕДИКТОВ,
ИЛИ
ДОСТОПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ МОЕЙ
РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ, НАПИСАННАЯ
БОТАНИКОМ Х. <...>

Мечте возрожденной

ГЛАВА I

С недавних пор Плутарх сделался излюбленным и единственным чтением моим. Сознаться должен, что подвиги аттических героев немного однообразны, и описания бесчисленных битв не раз утомляли меня. Сколько, однако, неувядаемой прелести находит читатель в страницах, посвященных благородному Титу Фламинину, пылкому Алькибиаду, яростному Пирру, царю эпирскому и сонму им подобных.

Созерцая жизни великие, невольно думаешь и о своей, давно прожитой и тускло догорающей ныне.

Гуляя по вечерам по склонам берегов москворецких, смотря, как тени от облаков скользят по лугам Луцкого, как поднимается лениво Барвихинское стадо, наблюдая яблони, ветви которых гнутся от тяжести плодов, вспоминаешь весенние душистые цветы, дышавшие запахом сладким на этих же ветвях в минувшем мае, и ощущаешь чувственно, как все течет на путях жизни.

Начинаешь думать, что не в сражениях только дело и не в мудрости философов, но и в букашке каждой, живущей под солнцем, и что перед лицом Господа собственная наша жизнь не менее достопамятна, чем битва саламинская или подвиги Юлия.

Размышляя так многие годы в сельском своем уединении, пришел я к мысли описать по примеру херонейского философа жизнь человека обыденного, российского, и, не зная в подробности чьей-либо чужой жизни и не располагая библиотеками, решил я, может быть, без достаточной скромности, приступить к описанию достопамятностей собствен-

ной жизни, полагая, что многие из них не безлюбопытны будут читателям.

Родился я в дни великой Екатерины в первопрестольной столице нашей, в приходе Благовещения, что в Садовниках. Отца своего, гвардии полковника и сподвижника Чернышева в знаменитом его набеге на Берлин, я не помню. Матушка, рано овдовев, проживала со мной в большой бедности, где-то в больших Толмачах, проводя лето в Кускове или у дальних родственников наших Шубендорфов, из которых Иван Карлович заведывал конским заводом в Голицынской подмосковной Влахернской, Кузьминки тож, которую, впрочем, сам старый князь любил называть просто Мельницей.

С годами удалось моей матушке, со старанием великим и не без помощи знакомых и товарищей покойного батюшки, определить меня в московский университетский благородный пансион, о котором поднесь воспоминаю с благоговением. Ах, друзья мои! Могу ли я передать вам то чувство, которое питал и питаю к Антону Антоновичу, отцу нашему и благодетелю. Поклонам и танцам обучал меня Ламираль, а знаменитый Сандунов руководствовал нашим детским театром.

В 1804 году, в новом синем мундире с малиновым воротником, обшлагами и золотыми пуговицами, принял я на торжественном акте из рук куратора шпагу — знак моего студенческого достоинства.

Не буду описывать дней моего первого года студенческого. Детище Шувалова, Меселино и Хераскова воспето гениальным пером Шевыревским, и не мне повторять его. Замечу только, что я уже полгода работал у профессора Баузе над изучением древностей славяно-русских, когда жизнь моя вступила в полосу достопамятных событий, повернувших ее в сторону от прошлого течения.

В мае 1805 года возвращался я из Коломенского с Константином Калайдовичем, рассеянно слушал его вдохновенные речи о Холопьем городке и значении камня тьмутараканского, а больше следил за пением жаворонков в прозрачном высоком весеннем небе. Вступив в город и расставшись со спутником своим, почувствовал я внезапно гнет над своей душой необычайный. Казалось, потерял я свободу духа и ясность душевную безвозвратно и чья-то тяжелая рука опустилась на мой мозг, раздробляя костные покровы черепа. Целыми днями пролеживал я на диване, заставляя Феогноста снова и снова согреть мне пунш.

Весь былой интерес к древностям славяно-русским погас в душе моей, и за все лето не мог я ни разу посетить книголюба Ферапонтова, к которому ранее того хаживал нередко.

Проходя по московским улицам, посещая театры и кондитерские, я чувствовал в городе чье-то несомненное, жуткое и значительное присутствие. Это ощущение то слабело, то усиливалось необычайно, вызывая холодный пот на моем лбу и дрожь в кистях рук, — мне казалось, что кто-то смотрит на меня и готовится взять меня за руку.

Чувство это, отравляющее мне жизнь, нарастало с каждым днем, пока ночью 16 сентября не разразилось роковым образом, введя меня в круг событий чрезвычайных.

Была пятница. Я засиделся до вечера у приятеля своего Трегубова, который, занавесив плотно окна и двери, показывал мне «Новую Кинопедию» и говорил таинственно о заслугах московских мартинистов.

Возвращаясь, чувствовал я гнет нестерпимый, который обострился до тягости, когда проходил я мимо Медоксова театра.

Плошки освещали громаду театрального здания, и оно, казалось, таило в себе разгадку мучившей меня тайны. Через минуту шел я маскарадной ротондой, направляясь к зрительному залу.

ГЛАВА II

Спектакль уже начался, когда я вошел в полумрак затихшего зрительного зала. Флигеры лампы освещали дрожавшие тени дворца Аль-Рашидова. Колосова, послушная рокоту струн, плыла, кружась в амарантовом плаще. Колосова — царица на сцене, и я готов был снова и снова кричать ей свое браво.

Однако и она, и все сказочное видение калифова дворца рассеялось в душе моей, когда я опустился в отведенное мне кресло второго ряда. В темноте затихшего зала почувствовал я отчетливо и томительно присутствие того значительного и властвующего, перед чем ниц склонялась душа моя многие месяцы. Вспомнилось мне неожиданно и ясно, как в детстве тетушка Арина показала мне в переплете оконной рамы букашку, запутавшуюся в паутине и стихшую в приближении паука.

«Браво!! Браво!!» Колосова кончила, и хор пиратов описывал владыке правоверных прелести плененных гречанок. Я уселся плотнее в кресло и, уставив зрительную трубу на сцену, пытался побороть в себе гнетущее меня чувство.

В тесном кругу оптического стекла, среди проплывающих мимо женских рук и обнаженных плеч, открылось мне лицо миловидное, с напряжением всматривающееся в темноту зрительного зала.

Родинка на шее и коралловое ожерелье на мерно поднимающейся дыханием груди на всю жизнь отметили в моей памяти это видение.

Томительную покорность и страдание душевное видел я в ее ищущем взоре. Казалось мне ясно, что и она, и я покорны одному кругу роковой власти, давящей, неумолимой.

На минуту потерял я ее в движении сцены и по своей близорукости не сразу мог найти без зрительной трубы.

Меж тем сцена наполнилась новыми толпами белых и черных ра-

бынь, и вереницы *pas de deux*¹ сменились сложными пируэтами кордебалета.

Вдруг голос, мучительно терпкий, пронизал всю мою душу, и в нем снова узнал я ее, и снова всплыло ее чарующее лицо, белыми локонами окаймленное, в оптическом круге зрительной трубы моей.

Голос, глубокий и преисполненный тоскою, просил, казалось, умолял о пощаде, но не калифа правоверных, не к нему обращался он, а к властителю душ наших, и я отчетливо чувствовал его дьявольскую волю и адское дыхание совсем близко, в темноте направо.

Занавес упал. Акт кончился. Ищущий взор мой скользнул по движущимся волнам синих и черных фраков, по колышущимся веерам и сверкающим лорнетам, шелковым канзу и кружевным брабантским накидкам, и остановился. Ошибиться было невозможно. Это был он!

Не нахожу теперь слов описать мое волнение и чувства этой роковой встречи. Он роста скорее высокого, чем низкого, в сером, немного старомодном сюртуке, с седеющими волосами и потухшим взором, все еще устремленным на сцену, сидел напротив в нескольких шагах от меня, опершись локтем на поручни кресла, и машинально перебирал свой лорнет.

Кругом него не было языков пламени, не пахло серой, все было в нем обыденно и обычно, но эта дьявольская обыденность была насыщена з н а ч и т е л ь н ы м и в л а с т в у ю щ и м.

Медленно, устало отвел он свой взор от сцены и вышел в коридор. Я как тень, как аугсбургский автомат, следовал за ним, не смея приблизиться, не имея сил отойти прочь.

Он не заметил меня. Рассеянн бродил по коридорам и, когда театральная толпа, покорная звону невидимых колокольчиков, стала снова наполнять зрительный зал, остановился, невидящим взором обвел пустующее фойе и начал спускаться по внутренним лестницам театра.

Следуя за ним, шел я по незнакомым мне ранее внутренним переходам, тускло освещенным редкими свечами фонарей. Коридоры, темные и сырые, поднимающиеся куда-то внутренние лестницы, стены, впитавшие в себя тени Медокса, казались мне лабиринтом минотавра.

Неожиданно блеснула полоса яркого света. Открылась дверь, и женщина, закутанная в складки тяжелого плаща, вышла к нам вместе с потоками света. Оперлась рассеянн и молча на протянутую им руку и, шурша юбками, быстро прошла мимо меня и скрылась в поворотах лестницы.

Я узнал ее. Я знал теперь даже ее имя: в афише значилось, что первую рабыню поет Настасья Федоровна К.

¹ Па-де-де (франц.).

ГЛАВА III

Призрачность ночных московских улиц несколько освежила меня. Я вышел из театра и видел даже, как черная карета, увозившая Настасью Федоровну, показавшаяся мне исполнинской, скрылась за углом церкви Спаса, что в Копье, направляясь куда-то по Петровке.

Я люблю ночные московские улицы, люблю, друзья мои, бродить по ним в одиночестве и не замечая направления.

Заснувшие домики становятся картонными. Тихий покой садов и двориков не нарушает ни шум моих шагов, ни лай проснувшейся дворовой собаки. Немногие освещенные окна полны для меня тихой жизни, девичьих грез, одиноких ночных мыслей.

Смотря, как церковки думают свою думу, в пустых улицах часто неожиданно всплывают то мрачные колоннады Апраксиновского дворца, то уносящаяся ввысь громада Пашкова дома, то иные каменные тени великих Екатерининских орлов.

Впрочем, в эту ночь моя встревоженная душа была чужда спокойных наблюдений. Неотступные мысли о дьявольских встречах угнетали меня. Я даже не думал. Во мне не было движения мыслей, я просто был, как в воду, погружен в стоячую, недвижимую думу о незнакомце.

Сильный толчок заставил меня остановиться. В своем рассеянии я столкнулся плечом в сыром тумане с высоким рослым офицером, который пробормотал какое-то проклятие.

В московском тумане он казался мне гигантского роста. Старомодный мундир придавал ему странное сходство с героями Семилетней войны.

«Ах, это вы!» — сказал колосс, смерив меня пронизывающим взором, и, хлопнув наружной дверью, вошел в ярко освещенный дом.

В каком-то столбняке смотрел я, ничего не понимая, на сверкающие в ночной темноте отпотевшие изнутри окна. Наконец понял, что стою против Шаблыкинского постоянного двора, и отошел в сумрак улиц.

Я снова впал в задумчивость, мысли застывали, как мухи, попавшие в черную паутку, и все чувства бесконечно ослабли. Одно только чувствование обострилось и утончилось сверхъестественно, и я сквозь гнилой московский туман ясно ощущал, что где-то по улицам гигантская черная карета возит незнакомца, то приближаясь, то отдаляясь от меня.

Желая оторваться от навязчивого ощущения, я сильно тряхнул своей головой и вдохнул полную грудью ночной воздух.

Налево вырисовывалась черным силуэтом ветла. Впереди терялась во мраке полоса Камер-Коллежского вала. За ним сонно надвинулись напластования марьино-рощинских домиков. Дымился туман, было далеко за полночь.

Я уже соображал прямую дорогу, желая направиться домой. Думал разбудить Феогноста и велеть ему заварить малину и согреть пунш, как вновь почувствовал, что припадок возобновился, и во мраке улиц вновь ощутил я приближение черной кареты. Хотел бежать. Но мои ноги

вросли в землю, и я остался недвижимым. Чувствовал, как, поворачивая из улицы в улицу, близился страшный экипаж. Мостовая дрожала с его приближением. Холодный пот увлажнял мой лоб. Силы покидали меня, и я принужден был опереться о ствол ветлы, чтобы не упасть.

Прошло несколько томительных минут, и справа показалась чудовищная карета. В дрожавшем голубом свете ущербной луны ехала она по валу, раскачиваясь на своих рессорах. На козлах сидел кучер в высоком цилиндре и с вытаращенными стеклянными глазами.

Карета поравнялась со мною. Дверца ее внезапно открылась, и женщина, одетая в белое, держа что-то в руках, выпала из нее на всем ходу и, запутавшись в платье, упала на землю. Карета немного отъехала, круто повернула и остановилась. Кузов ее неестественно сильно наклонился набок.

Незнакомец вышел и быстро подошел к женщине. Настенька, это была она, вскочила и с криком: «Нет у вас больше надо мною власти!» побежала к пруду... Не имея сил добежать, она подняла предмет, бывший у нее в руках, над головою и, бросив его с размаха в воду, упала. Гнилая ночная вода пруда проглотила брошенное.

Незнакомец приближался. Рыдания Настенькины наполнили мою душу ужасом, и готов я был броситься к ней на помощь, но не смог сделать ни шагу и снова почувствовал себя в безраздельной его власти и, как заговоренный, стоял у ветлы.

«Эй, ты!» — услышал я его властный голос, и ноги мои пошли к нему.

Не помню, как мы подняли с земли мою Настеньку, как уложили ее в карету, как сел я с ней рядом, как тронулась карета. Помню только, что долго видел я, отъезжая в ночном тумане сторбенную фигуру незнакомца, стоящего у берега пруда и упорно ищущего что-то, наклоняясь.

ГЛАВА IV

Марья Прокофьевна всплеснула руками, когда внес я Настеньку в ее домик на берегу Неглинки, совсем у церкви Настасии Узорешительницы.

Добрая женщина, царство ей небесное, засуетилась. Уложили мы Настеньку на диван, под часы корельской березы. Марья Прокофьевна отослала меня самовар ставить, а сама облегчила Настеньке шнуровку.

Долго не могли привести мы ее в чувство. Настенька, бедная, плакала, несуразные вещи всякие во сне говорила.

Стало светать. Третьи петухи запели, как пришла она, родная голубушка, в себя, улыбнулась нам и заснула спокойно. Сквозь кисейные занавески и ветви розмарины, стоящего по окнам, розовела утренняя заря. Марья Прокофьевна потушила свечу, ставшую ненужной. Ровное, спокойное дыхание Настеньки поднимало ее грудь, золотистый локон рас-

сыпался по тонкому полотну подушки. Часы тикали особенно значительно и спокойно в утренней тишине. У Спасовой, что в Копье, церкви ударили к заутрене.

Я с сожалением поднялся со стула и стал разыскивать свою шапку, собираясь уходить. Однако Марья Прокофьевна меня не отпустила и очень просила вместе с ней выкушать утренний кофий. Добрая женщина встретила меня как давнишнего знакомого, хотя допрежде того мы никогда не встречались.

Никогда не забуду я этого дня, все мне в нем памятно. И половики на лаковом полу, и клавикорды с раскрытой страницей Моцартовой, и горку с фарфоровой и серебряной посудой... Но больше всего в памяти остался глубокий диван со спинкой красного дерева, по которой лениво и сонно плыли блики утреннего солнца и силуэтные профили, тонко рисованные тушью по перламутру и висевшие в затейливых рамках над диваном.

Марья Прокофьевна наливала мне из медного пузатого кофейника третью чашку и в пятый раз заставляла рассказывать, как я спасал Настеньку, когда скрипнула дверь и она сама вышла к нам из спальни, в розовом капотике и вся зардевшись от слышанных слов моих.

ГЛАВА V

Уже вечерело, когда я шел по Петровке, направляясь к Арбату и держа в руках синий, небольшого формата конверт, на котором Настенькиной рукой было написано: «Господину Петру Петровичу Венедиктову в собственные руки в номера Мадрид, что на Арбате».

Конверт надушен был терпким запахом фиалок, а в моей душе намечалось странное чувство ревности, на которую не имел я никакого права.

Шел я в рассеянности, и у Петровских Ворот чуть не сшибли меня с ног кареты знатных посетителей, съезжавшихся в Английский клуб. Монументальная белая колоннада клуба, окаймленная золотом осенних листьев, принимала подъезжавших посетителей. Ленты осенних бульваров, полные яркой радости, подчеркивали синеву неба. Сгустки облаков застыли над Москвой. Золото осени падало на новую московскую Данаю, медленно шедшую передо мною по аллее, кого-то поджидая. На ней было синее канзу, а тонкая рука ее сжимала пучок завянувших астр.

Венедиктов сидел посреди 38-го номера на засаленном, просиженном зеленом диване и курил трубку с длинным чубуком. На нем был яркий бухарский халат, открывавший волосатую грудь. В комнате в беспорядке разбросаны были различные вещи. Раскрытые баулы и сундуки говорили о готовящемся отъезде. На столе стояла железная кованая шкатулка.

«А, это ты?» — холодно и недовольно встретил меня Венедиктов. В полном трепета молчании протянул я ему письмо. Нехотя взял он его

и, взглянув на почерк, вздрогнул. «Как?!» Встал. Провел руками по влажному лбу, посмотрев на свет, вскрыл пакет. Стал читать, волнуясь до чрезвычайности.

Почитая свою миссию законченной, счел я за лучшее незаметно уйти, оставив его посреди комнаты с роковым письмом в руке.

На заплыванной и полутемной лестнице меблированных комнат пахло кислой капустой, и какой-то корявый и веснушчатый мальчишка чистил, приплюывая, гусарские ботфорты. Выйдя на улицу, вздохнул я свободно.

Ах, господа, трудно до чрезвычайности носить кому-либо запечатанные письма от той, которую любишь безмерно.

Ступая по лужам и не зная, куда направить путь свой, снова почувствовал я гнет чужой воли над своею душой. Ощущал тягостно, что приказывает он мне вернуться. Кутался в плащ, твердо решив не поддаваться его власти и продолжать путь свой. Душа моя походила на иву, сгибаемую ветром надвинувшейся бури, в ее порывах изгибающей ветви свои.

Душа моя становилась безвольна и растворялась бесследно в чужой, мрачной, как воды Стикса, дьявольской воле.

Бесшумно отворил я дверь тридцать восьмого номера, как провинившийся школьник стал у притолоки. Венедиктов сиял, вся комната преобразилась.

Вещи, приготовленные к отъезду, были заброшены под диван. На столе в бемских бокалах искрилось шампанское, а устрицы и лимбург смешивались с плодами московских оранжерей.

«Как я могу отблагодарить тебя, Булгаков!» — сказал Петр Петрович, протягивая мне бокал. — «Сам Гавриил не мог бы принести мне вести более радостной, чем ты! Эх! если бы ты мог что-нибудь понимать, Булгаков. Душа освобожденная, сбросившая цепи, любит меня!»

Недопитое вино искрилось в бутылках. Венедиктов был уже пьян в высшей степени. Он усадил меня за стол и с пьяным дружелюбием и настойчивостью потчевал меня яствами своими.

Искрометная влага Шампани сделала язык его разговорчивым, и он изливал передо мною любовную тоску свою. Все более хмелея, повторял ежеминутно: «Эх, если бы ты что-нибудь понимал, Булгаков!» Наконец, придя в неистовство, ударил кулаком своей большой руки, на которой сверкнул железный перстень, по столу так, что замерцали свечи, и бокал, упав на пол, разбился с трепетным звоном. Воскликнул: «Я — царь! А ты червь передо мною, Булгаков! Плачь, говорю тебе!» И я почувствовал, как горсть наполнила душу мою. Черствый клубок подступил к моему горлу, и слезы побежали из моих глаз.

«Смейся, рабская душа!» — продолжал он, хохоча во все горло, и поток солнечной, мучительной радости смыл мою скорбь. Все, казалось, наполнилось звенящей радостью — и персики, разбросанные по столу, и

осколки разбитого бокала, и канделябры мерцающих свечей, стоящие на смятой и залитой вином скатерти.

«Беспредельна власть моя, Булгаков, и беспредельна тоска моя; чем больше власти, тем больше тоски». — И он со слезами в голосе повествовал, как склоняются перед ним человеческие души, как гнутся они под велением его воли. Как любит он Настеньку, как хотел он ее любви. Не подчинения, а свободной любви. Не по приказу его воли, а по движению душевному. Как боялся он отказаться от власти над нею, страшась навсегда потерять ее. Как отрекся он минувшей ночью от власти над Настенькиной душой и как наградил его Всевышний ее свободною любовью, вестником которой и был синий конверт, мною принесенный.

Ум его темнел, и он, размахивая руками, ходил по комнате, как в бреду, рассказывая бессвязно. Тень, или, вернее, многие тени его шагающей фигуры раскачивались по стенам. В незанавешенные окна вливался холодный свет луны, смешивающийся с мерцающим желтоватым светом восковых свечей канделябра. Глухо донеслись полночные перезвоны Спасской башни.

«Ничего ты не понимаешь, Булгаков!» — резко остановился передо мной мой страшный собеседник. — «Знаешь ли ты, что лежит вот в этой железной шкатулке?» — сказал он в пароксизме пьяной откровенности. — «Твоя душа в ней, Булгаков!»

ГЛАВА VI

Было около двух часов ночи. Венедиктов налил себе бокал и, выпив, продолжал свой рассказ.

«И вот, понимаешь, когда вошел из темноты я в эту комнату, глаза мои застлались от едкого табачного дыма с примесью какого-то запаха серы. Клубились тяжелые струи дыма, сверкали лампы, вместо свечей уставленные плошками, извергавшие красные и голубые, как горения спирта, языки пламени. На огромном, круглом, покрытом черным сукном столе сверкали перемешанные с картами золотые треугольники. Десятка три джентльменов, изящно одетых в красные и черные рединготы, в черных цилиндрах, все с такими же геморроидальными лицами, как и у моего спутника, в полном молчании, прерываемом проклятиями, играли в пик-медриль. Рыжий, которого я спас на углу Уайтчепеля от разъяренной толпы клириков, пожал ближайшим джентльменам руки и сел за стол, совершенно забыв о моем присутствии.

Предоставленный самому себе, я попытался осмотреться. Комната, показавшаяся мне вначале сводчатой, поскольку можно было рассмотреть сквозь клубы вонючей гари, или была вовсе лишена потолка, или он был прозрачен, так как кругом мерцали мириады звезд, застилаемые струями дыма. В глубине направо высилось колоссальное изваяние, я узнал в нем ритуальное изображение Асмодея в виде козла. Именно

так изображен он в книге Брантона. Нет сил передать всю гадость и похотливость неистовства приданной ему позы. С ног до головы изваяние было залито испражнениями, горевшими голубым огнем, а новые и новые толпы посетителей с проникновенным трепетом облегчали свои желудки в жертву богу дьяволов. Смерд, поднимавшийся от этой черной мессы, заслонял стоящего на голове чудовища, дряхлого Иерофанта с выпяченным животом, размахивающего двумя факелами. В серном тумане светлыми пятнами маячили круглые, покрытые сукнами столы, где джентльмены предавались карточной игре или обжорству... казалось, передо мной был шабаш ведьм мужского пола.

«Ха, шлюсен¹», — дернул меня за руку плюгавый старик и просил, передавая карты, докончить партию за него, пока он отлучится, обещая получить выигрыш пополам.

Я сел, не отдавая себе отчета, и взял в руки карты; кровь прилила у меня к голове и забила в висках, когда взглянул я на них.

Порнографическое искусство всего мира бледнело перед изображениями, которые трепетали в моих руках. Взбухшие бедра и груди, готовые лопнуть, голые животы наливали кровью мои глаза, и я с ужасом почувствовал, что изображения эти живут, дышат, двигаются у меня под пальцами. Рыжий толкнул меня под бок. Был мой ход. Банкомет открыл мне пикового валета — отвратительного негра, подергивавшегося в какой-то похотливой судороге, я покрыл его козырной дамой, и они, сцепившись, покатались кубарем в сладострастных движениях, а банкомет бросил мне несколько сверкающих трехугольников. Как удары молота, стучала кровь в моих висках. Но я, боясь выдать себя, продолжал играть. Карта мне шла, и неистовые оргии карточных персонажей, сплетавшихся во славу Приапа... решались в мою пользу.

Когда плюгавый джентльмен вернулся, передо мною на столе лежала изрядная кучка металла. Он, видимо, был неожиданно обрадован и, сунув горсть трехугольников мне в руки, похлопал по спине. Воскликнул: «Ха, шлюсен» — и погрузился в игру. Оторвавшись от дьявольских карт, я обвел залу помутившимся взором налитых кровью глаз. Для меня не оставалось более сомнения, что нахожусь я в клубе лондонских дьяволов. Приходилось думать о бегстве. Рыжий джентльмен, встреченный мною в Уайтchapеле, вряд ли мог быть для меня полезен. Он был в сильном проигрыше, и волосы его бакенбардов в неистовстве сжимались и разжимались, как спирали пружин... На счастье, увидел я двух косопузых карапузиков в красных рединготах, янтарных лосинах и черных цилиндрах, которые, о чем-то споря, простились с соседями и, очевидно, направились к выходу. Незамеченным, последовал и я за ними. Они подошли к плотной кирпичной стене и, не замедляя шага, слились с нею. Я бросился к ней, выдвигая правое плечо вперед, ожидая удара

¹ Играй (нем.).

холодного камня. И только коснулся ее поверхности, как увидел себя в сутолоке вечерней толпы «Пикадилли-стрит».

Венедиктов остановился, вытер платком вспотевший лоб, залпом осушил стакан и продолжал:

«Когда я вернулся в гостиницу и разложил семь мною выигранных треугольников посередине стола, долго не мог я понять их значения. Это были толстые золотые и, очевидно, платиновые пластины, с вырезанными на них знаками Аик-Бекара и пентаклем, сильно потертые и бывшие, очевидно, в немалом употреблении. Казалось, впитали они в себя адский пламень Асмодеевой черной мессы.

Недоуменно взял я один из них в руки и, смотря на него, задумался. Постепенно меня захватили, нарастая, новые ощущения. Почувствовал прилив каких-то новых чувств, и взор мой, изощренный, как-то свободно проникал сквозь предметы, уносился беспредельно.

В какой-то синеющей дымке, впрочем, даже не в дымке и не на стене, я не знаю, как передать способ моего нового чувствования, — увидел я девушку, разметающуюся на своей постели. В беспокойном сне сбросила она от себя одеяло и в нагой своей красоте лежала передо мной. Волнение охватило меня. Ее лицо не было мне видно, и страстное желание видеть его наполнило мою душу. Как бы подчиняясь ему, она с каким-то мучением повернулась ко мне. Как прекрасно было это лицо! Как прекрасна была ее обнаженная грудь! Мне захотелось, чтобы она открыла свои глаза, и глаза ее открылись. Девушка проснулась. В ужасе села на кровати. Я захотел, чтобы она встала, и она встала с мучительным напряжением. Рубашка скатилась к ее ногам, и мгновенно она стояла передо мной, как Киприда, рождающаяся из пены морской. Затем опомнилась, накинула рубашку и в ужасе опустила перед киотом икон, где теплилась лампада... Спасов лик строго глянул мне в душу, и видение потускнело.

Я выронил из руки треугольник и долго-долго смотрел перед собою в пустоту... Прошел час, может быть, другой... Дрова догорали в камине. Я понемногу пришел в себя и положил на ладонь другой платиновый треугольник и чуть не выронил его в ужасе... Стены расступились, и увидел я Жанету Леклерк, актрису Паласс-театра, за которой ухаживал я тщетно. Она полулежала на софе, и около софы на коленях стоял офицер шотландской гвардии. Беспорядок одежд, нежность поз не оставляли сомнения в любовности их свидания. Жанета, вся трепеща, в истоме тянула к нему свои обнаженные руки и полуоткрытые губы. Всем напряжением воли я велел ей отпрянуть. Но не было моей власти над ней, и она обняла своими обнаженными руками сидящую голову полковника. Бешенство овладело мною, и я велел ему встать. Покорный, он поднялся с колен, отстранив объятия Жанеты. Я понял, что владею его душой; Жанета, с неведомым для меня в женщине бесстыдством, прильнула к нему своим телом, и я, до краев преисполненный бешенством и чувствуя, что владею каждым мускулом шотландца, схва-

тил его руками ее горло и неистово впился в него, пока судороги не охватили ее тела.

Видение показало мне смерть Жанеты, и я усилием своей воли бросил шотландца головой об угол печки.

Видение пропало, а трехугольник рассыпался в прах, оставив ощущение ожога. Я бросился на диван и забылся тяжелым сном.

Нужно ли рассказывать о беспредельном ужасе моем, когда утром я подошел к дому Жанеты, чтобы рассказать ей об ужасном сневидении, увидел дом, окруженный толпой, ее задущенной, а в углу комнаты с разбитым черепом лежащего, виденного мною ночью шотландца. Жизнь для меня потухла. Я понял, что выиграл у лондонских дьяволов «человеческие души».

ГЛАВА VII

Речь Венедиктова становилась бессвязной. Он хмелел все больше и больше. Видение прошлого терзало его мозг, он опустился глубоко в свое кресло и, сильно затягиваясь, курил свою трубку с длинным чубуком. Бледный, как смерть, рассказал он, как овладел душою и телом молоденькой леди, только что вышедшей замуж за члена Верховной Палаты лорда Крю, и раздавил ее жизнь, как раздавливает полевой цветок тяжелая нога прохожего; как не мог он даже в тумане увидеть владетеля души с пентаклем Альдебарана.

Петр Петрович открыл шкатулку и показал мне четыре оставшихся трехугольника, рассказав, что пятого талисмана — Настенькиной души — он не мог найти в пруду Марьиной роши, куда его она забросила.

Совсем охмелевший Венедиктов бил кулаком по платиновой пластине неведомой души, приказывая ей явиться перед ним и посылая проклятья. Затем стих и охотно согласился сыграть на мою душу в пикет, в который мне не трудно было его обыграть весьма скоро. Трепетной рукой взял я дьявольский трехугольник. Свечи догорали и гасли. При свете коптящей светильни видел я, как Венедиктов опустился своей тяжелой головой на стол.

Когда я бежал по Мертвому переулку мимо церкви Успенья, что на Могильцах, на Спасской башне пробило три.

ГЛАВА VIII

Сердце мое билось, глаза горели, когда шлепал я по осенним лужам и шел, подавленный кругом невиданных событий.

Ночная Москва поглотила меня. Не помню, где я ходил. Срамная баба кричала мне вслед, задирала свои юбки и звала меня в канаву... два раза окликали меня не трудно было его обыграть весьма скоро. Трепетной рукой взял я дьявольский трехугольник. Свечи догорали и гасли. При свете коптящей светильни видел я, как Венедиктов опустился своей тяжелой головой на стол.

Это было единственное место, где мог я укрыться от накрапывающего дождя и собраться с мыслями в ожидании рассвета. Вошел и отряхнулся от капель. Дождь полил с удвоенной силой. Большая комната почтовой станции была тускло освещена двумя фонарями.

Направо у столика с двумя полушторками сжались в кучу несколько посетителей, за стойкой дремал хозяин, пожилой уже ярославец, налево за большим столом в полном одиночестве сидел постоялец, увидав которого я невольно вздрогнул.

Это был странный офицер, с которым столкнулся я прошлой ночью. Он сидел и писал. Тускло мигавшая, нагоревшая свеча освещала его старомодный дорожный мундир, высокие ботфорты, и снова напомнил он мне героев Семилетней войны.

В комнате чувствовалось напряжение чрезвычайное, посетители, на вид люди бывалые, казалось, стихли, как стихают мелкие пичуги, завидев приближение ястреба. Рюмка не лезла им в горло, и хмуро смотрели они на офицера, пишущего что-то на полулисте бумаги, плохо обрезанном, и скрипучим пером. Бросив перо и сложив написанное вчетверо, незнакомец встал и, звеня шпорами, направился к выходу.

«Приготовь лошадей, Петрухин, через час я уезжаю», — сказал онозяину и вышел под потоки яростного, булькающего в лужах дождя.

«Душегуб проклятый!» — процедил сквозь зубы какой-то помятый человек, в котором нетрудно было узнать архивного регистратора. «Не к добру эдакая встреча», — поддержал его приятель и взялся за полушторф.

«Эй, смотритель, это что за цаца?»

«Сейдлиц», — отвечал степенный ярославец с какой-то особой боязливой и почтительной осторожностью.

«А кто он такой?»

«А кто его знает! Болтают по-разному. Года два назад стоял он в Новотроицком и выбросил в окно шулера Верлинского. Сказывают, помер!» Фамилия оказалась знакомой, и потертый человек, еще больше съезжившись, рассказал, что слышал он, будучи в Питере, о каком-то Сейдлице, не к ночи его помянуть, появившемся на свет Божий диковинным образом. В те поры, рассказывал он, в Париже орудовал некий Месмер и из людей всяких какой-то палочкой веревки вил; что скажет, то человек ему и сделает, чем велит, тем человек и прикинется. Скажет: быть тебе, ваше превосходительство, волком, — и его превосходительство окарачь ползает и воет. Скажет графине, что она курица, — она и кудахчет.

Так вот, сказывают, велел он одному немецкому гусарскому полковнику, что будто он на седьмом месяце беременности. У того живот-то и вздулся, а Месмер-то этот самый тут же от натуги и помер. Расколдовать гусара никто не мог, а месяца через два он помер, и лейб-медик короля прусского вырезал у него из живота ребеночка, зеленого всего, склизкого, с большою головой...

Рассказ прервался скрипом двери и звяканьем шпор. Сейдлиц вернулся и бросил зрителю кожаный мешок и письмо, запечатанное пятью сургучными печатями. — «Утром отправить к коменданту», — сказал он резко и снова направился к выходу. Все примолкли. Покров ночного ужаса раскрылся над нами. Все мы заметили отчетливо, что, несмотря на проливной дождь, плащ Сейдлица не был смочен ни одной каплей воды. Вскоре я расплатился и вышел.

ГЛАВА IX

Утренний сон освежил меня заметно. Сквозь опущенные занавески просачивались солнечные лучи. Круглые солнечные зайчики наполняли комнату спокойным полусветом, играя то на фарфоровом китайце, то на резной рукоятке пистолетов, подаренных отцу Румянцевым-Задунайским и висевших над диваном, служившим мне постелью.

Я чувствовал полное освобождение от гнетущей меня последние месяцы тягости, но почему-то даже не вспомнил о выигранном треугольнике. Так незначительной казалась мне моя собственная судьба. Душа моя была опустошенной. Ни радости, ни горести я не ощущал. Мне как-то ничего не хотелось. И только одна мысль о Настеньке наполнила мою душу сиянием.

Но что я был для нее? И в то же время чем я был без нее?

Когда я вошел в синенький домик, там все сияло радостью. Марья Прокофьевна с засученными рукавами клала на подушки сдобный кренделек. Розмарин и чайное дерево благоухали запахом радости. Белая кошечка в новом голубом бантике от радости особенно круто выгибала спину. Струны клавикорда, казалось, сами были готовы звенеть Моцартовы песни. Настенька перед зеркалом поправляла свои локоны и складки на кружевной накидке своего шуршащего белого платья. С горестным чувством мучительной ревности выслушал я, что Венедиктова ждут через час, к двум, что отец Василий от Параскевы Пятницы прибудет сам для обручения, и что я такой необыкновенный, такой любезный, такой счастливым на руку человек.

Прибыло два. Пришел дядя Николай Поликарпович с супругой в граденаплевом платье, две-три молоденькие девушки с большими бантами на головах, подруги Настенькины театральные. Попробовали кренделек. К трем пришел отец Василий. Радость омрачалась тревогой. Закусили. Поговорили о Бонапарте, еще раз закусили. Отец Василий ушел, сказав, что придет к пяти. Стало томительно и страшно. Я подавлял в себе преступное чувство радости и наконец предложил сходить к Венедиктову, узнать, в чем дело. Поймал на себе взгляд Настеньки, полный надежды и благодарности. Чуть не бегом пустился по Петровке.

Когда подошел я к Арбатской площади, мне бросились в глаза встревоженные лица прохожих и какая-то растерянность во всем. Меблированные комнаты «Мадрид» нашел я окруженными большою тол-

пой простого народа, а в стороне знакомую коляску обер-полицмейстера. Половые и полицейский долго меня не пускали, а когда я назвал себя и сказал, что надобен мне Петр Петрович Венедиктов, чьи-то досужие руки взяли меня за локти, и я был втолкнут без особой учтивости в 38-й номер, войдя в который, остолбенел.

В комнате было все перевернуто и носило следы отчаянной борьбы. Посредине, среди обломков кресла и скомканного ковра, лежал Петр Петрович с проломленным черепом, а штабс-капитан Загорельский допрашивал побледневшую дородную содержательницу номеров.

ГЛАВА X

Уже синенький домик с мезонином показался у меня перед глазами, когда робость овладела мною всецело и до конца. Я не мог сделать ни шагу более. Пусть Настенька проспит эту ночь в неведении! Пусть беспокоество ее не заменится мраком отчаяния!

Вернулся домой. Посмотрел в зеркало. Исхудалое лицо взглянуло на меня из рамки корельской березы. Отяжелевшие впалые глаза отмечались ужасными синяками. Я не мог заставить себя прикоснуться к ужину и, отпив два глотка горячего пунша, велел Феогносту постелить мне на диване постель и потуже набить две трубки Капстаном.

Была глубокая ночь, но не мог я собраться с мыслями даже настолько, чтобы раздеться и лечь спать. Тупо смотрел, ничего не понимая, на пламя догорающей свечи.

Стук в окно, которое я забыл занавесить, прервал мои тяжелые размышления.

Труба архангела не смогла бы потрясти меня больше; я бросился к окну и сквозь запотелое стекло, в лунном свете увидел Настеньку — простоволосую, закутанную в ковровую шаль.

— Спасите меня: убийца гонится за мной по пятам! »

Я не расспрашивал более: через минуту, забыв о стыдливости (ах, друзья мои! о чем нельзя было забыть в эту минуту!), я быстро переодевал Настеньку, стоящую передо мной в одной рубашке, в свое мужское платье. А когда мы перелезли через забор в сад попадьи и рука моя судорожно сжимала отцовский пистолет, кто-то тяжело и упорно стучался в дверь моего дома. Через полчаса мы были на знакомом постоялом дворе в Садовниках, а на рассвете друг моего детства и молочный брат Терентий Кокурин мчал нас на своей тройке в город Киржач, без подорожной, без паспортов, к сестре моей матушки Пелагее Минишне.

ГЛАВА XI

«...Вот и все. Пелагея Минишна. Больше я и сам не знаю», — закончил я свой рассказ и посмотрел на старушку. Моя добрая тетушка вздохнула и принялась устраивать нас, не задавая никаких вопросов,

только изредка пристально всматриваясь то в Настеньку, то в меня.

Сшили мы Настеньке нехитрое платьице из аглицкой фланели, которое шло ей к лицу чудесно, как, впрочем, были ей к лицу и тетушкины робороны времен Елизаветы Петровны и славных дней Екатерины.

Первые дни сидела она, родная голубушка, в уголке дивана недвижно, как зверушка в клетке, и как-то испуганно глядела на нас. Отчетливо и с радостной грустью помню я дни, когда тетушка, окончив с хозяйством, присаживалась к нам и, быстро мелькая спицами, вязала чулки, Настенька смотрела в сад, где опадали последние желтые листья, и, задумавшись, гладила белую кошечку, а я, поместившись у ее ног, читал творения Коцебу, описания путешествия господина Карамзина и трогательные стихи великого Державина.

Ах, друзья мои, как давно это было!

Через неделю отправился я в Москву, нашел Настенькин домик сгоревшим, а Марию Прокофьевну исчезнувшей неизвестно куда.

Прошло около месяца, пока я хлопотал о заграничном паспорте. В те времена паспорта получались столь же трудно, как и теперь. И только в конце октября переехали мы прусскую границу. Перед нами промелькнул Берлин, еще хранивший жизнь Великого Фридриха, Кельн с его башнями и серыми волнами Рейна, Париж, где золото, женщины, вино и гром военной славы уже закрыли собою заветы неподкупного Максимилиана.

Настенька оставалась безучастной ко всему проплывающему мимо. А я начал впадать в задумчивость тяжелую. Шитый бисером кошелек, в котором моя мать, умирая, передала мне наследие отца, бережно сохраненное ею, становился все более и более легким. Будущее тревожило меня. Мы с Настенькой привязались друг к другу до чрезвычайности. Но положение наше было ложно. Она и думать не хотела о замужестве. Тщательно запирала дверь своей комнаты, уходя спать. Я пытался спрашивать об ее жизни. Она рассказывала неохотно, больше о своем детстве, о театральной школе. Казалось, роковая тайна тяготела над ней, и было нужно еще раз показаться на нашем пути маске трагедии, чтобы новой кровью закрепить наше счастье.

29 апреля 1806 года прогуливались мы в окрестности Фонтенебло, в лесах, где многие столетия охотились французские короли и где Франциск замыслил фрески своего замка. Буковые стволы, увитые плющом, и колючие кусты застилали нашу дорогу. Я думал с тревогой, что сбились мы с пути, как вдруг услышал лязг скрестившихся шпаг. Подняв голову, увидел, что Настенька, смертельно бледная, смотрит сквозь заросли на полянку. Смотри в направлении ее взгляда, увидел я на зеленой траве группу мужчин в пестрых кавалерийских мундирах, внимательно смотрящих на двух, с ожесточением фехтующих. В ужасе узнал

я в одном из дуэлянтов Сейдлица. В этот же миг он увидел Настеньку и отступил на шаг. Как удар молнии сверкнула шпага его противника и пронзила его грудь. Он вскрикнул и упал лицом в траву. Секунданты к нему подбежали. «C'est fini!»¹ — воскликнул пожилой офицер, беря руку безжизненного Сейдлица.

«Уведите меня отсюда», — услышал я Настенькин шепот.

Вечером рассказала она, прерывая свою повесть рыданиями, что пьяный Венедиктов в роковую для себя ночь дождался прихода не подчинявшейся ему дьявольской души, проиграл Настеньку Сейдлицу и погиб, желая силой отнять свою расписку у пруссака.

«Теперь я свободна», — закончила она свой рассказ, протягивая мне обе руки. В эту ночь она оставила дверь своей спальни не запертой.

ГЛАВА XII

Не знаю, что и о чем писать дальше... История достопамятных событий, потрясших мою жизнь, давно уже окончена. Не я даже в ней главное лицо. Господу было угодно сделать меня свидетелем гибели человека, перешедшего черту человеческую, и передать в мои руки его драгоценное наследство.

Венчались мы с Настенькой в тот же год, возвратившись в Москву, у Спаса, что в Коппе. Жизнь наша протекала безоблачно, и даже при французе домик наш, построенный на Грузинах, был пощажен и огнем и грабителями.

Настенька бросила сцену и предалась хозяйству. Брак наш не был счастлив детьми, и в тяжком одиночестве посещаю я могилу Настенькину в Донском монастыре.

Вот и вся повесть жизни моей. Упомяну только в заключение, что лет через пять после француза, перебирая сундуки в поисках парадной одежды для посещения торжества открытия памятника гражданину Минину и князю Пожарскому, на которое получили мы с Настенькой билеты, нашли мы старый мой студенческий мундир, из кармана которого выпал золотой трехугольник моей души. Долго мы не знали, что с ним делать, и смотрели на него со странностью, пока я не проиграл его Настеньке в карточную игру Акульку. Настенька взяла трехугольник с трепетом, привязала себе на крест, и — странное дело! — с той поры не знал я больше ни скорби, ни горести. Не ведаю их и сейчас, бродя, опираясь на палку, по склонам москворецким и зная, что душу мою Настенька бережет в своем гробике на Донском монастыре.

[1922]

¹ Конец! (франц.)

ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО ИЛИ ДИКОВИННЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ СТЕКЛЯННОГО ЧЕЛОВЕКА

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ, НАПИСАННАЯ БОТАНИКОМ Х.
И НА ЭТОТ РАЗ НИКЕМ НЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

О. Э. Ч.¹

посвящает эту книгу автор

ГЛАВА ПЕРВАЯ,
ИЗ КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ УЗНАЕТ ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
И ЗНАКОМИТСЯ С ГЕРОЯМИ НАШЕЙ ПОВЕСТИ

Алексею никогда не удавалось впоследствии передать своим друзьям в обычных представлениях и образах нашего мира свои стеклянные впечатления. Даже больше того — потрясенная память не удержала почти никаких воспоминаний из дней, непосредственно предшествовавших началу его тяжелого зеркального бытия.

Последнее, что сохранилось в его памяти отчетливо и даже преувеличенно ярко, был тот роковой день, когда он нашел искомое в подвалах венецианского антиквара.

Он помнил в малейших деталях, как сеньор Бамбачи, уже истощивший весь запас хвалебных терминов пяти европейских языков, вяло перебирал перлы своих коллекций.

Венецианское солнце, как всегда горячее, насыщенное запахом меда и моря, ложилось бликами на бедрах амуров Барокко, играло на стеклянных подвесках флорентийских консоли и посылало на потолок антикварного магазина отблески волн канала Gracio².

Однако все сокровища торгового предприятия сеньора Бамбачи, как равно и предложения других антикваров Европы, оставляли Алексея холодным.

Полгода, уже затраченные на внешнее убранство его новой жизни, не привели еще к разрешению поставленной задачи.

В восьми комнатах его нового яузского особняка предметы художественного творчества пяти веков, схваченные острой гаммой экспрессионизма, несмотря на все усилия, не связывались между собою последним заключительным синтезом.

Была нужна деталь, которая своею острой и пряной силою превосходила бы многократно все остальные слагающие, как капля эстобаны превосходит все элементы сложного напитка, служащего для ее воплощения.

¹ О. Э. Чаянова (1897—1983) — с 1921 г. вторая жена А. В. Чаянова

² Грацио — канал в Венеции

Попытка использовать для этой цели деревянного негритянского идола с бенадирского берега оказалась столь же бесплодной, как и первоначальный замысел построить всю композицию обстановки на маленькой Венере старшего Пальмы.

Алексей заметно терял хладнокровие, и ему казалось, что неудача с устроением яузского дома обрекает на неудачу и устроение жизни с его обитательницей, чьи рыжие пряди волос обещали дать последний синтез его мятежной, сложной и, в общем, тяжелой жизни. С нескрываемой досадой Алексей отодвинул рукой какой-то пестрый свадебный ящик старой тосканской работы, предложенный ему выбившимся из сил и недоумевающим антикваром, и решил использовать последнее средство, которое не раз спасало его от намечавшегося коллекционерского сплина.

Через десять минут ворчавший Бамбачи, гремя ключами и освещая путь тусклым фонарем, спустился с ним по сырым каменным ступеням в подвалы, до краев набитые старой рухлядью, служившей венецианцу рудой для извлечения драгоценных перлов его антикварного дома.

Алексей надеялся, что глаз старого торгаша, притупленный банальностью рыночного спроса, что-нибудь пропустил в многочисленных обстановках старых палаццо и монастырей, гуртом скупленных и сваленных в бездонные подвалы канала Gracío.

Однако штабели старых запыленных кресел, деревянных церковных принадлежностей и бледных безруких антиков — в мерцающем свете Бамбачева фонаря — показалась ему скучными задворками Дантова Ада, истлевающим кладбищем жизни многочисленных поколений.

Щемящая тоска бесилила сознание Алексея, и он уже собрался махнуть на все рукой и прямо из магазина ехать на вокзал и в Москву, как вдруг остановился потрясенный.

Ему показалось в темноте, направо, около огромной картины, за обломками луисезовских кресел, присутствие кого-то значительного и властвующего.

Алексей остановился. Сердце его забило учащенно. Он чувствовал все свои движения связанными, и какая-то власть змеинового взгляда приковывала его к находящемуся во мраке.

Он сделал несколько шагов в темноте, и в колыхнувшемся свете Бамбачева фонаря в него впились два испуганных глаза.

Через мгновение, показавшееся ему вечностью, он понял, что перед ним за обломками красного дерева стоит зеркало, покрытое паутиной и слоями пыли.

С этой минуты острота сознания погасла для Алексея.

С большим напряжением он мог припомнить в смутных зрительных образах, как привез свою находку к подъезду яузского особняка. По чему-то отчетливо помнил побагровевшую с натуги толстую шею своего камердинера Григория, который, кряхтя, вынимал из автомобиля ящик с упакованным в нем венецианским зеркалом.

Помнил, точно сквозь сон и тот роковой момент, когда он, бессвязно рассказывая свои похождения Кет, стоящей перед ним в озаренном солнцем белом весеннем платье, начал снимать тафту со своей венецианской находки.

Когда упали на пол последние складки желтой ткани и черная стеклянная поверхность изогнутыми линиями отразила в себе Кет, горшки кактусов и купола церквей, горой поднимающихся к закатному небу на Кулишках за Яззой — все преобразилось в маленьком домике и чудилось, будто невидимые струи стеклянной жидкости заливают собою комнаты и растворяют все окружающие предметы, делая их призрачными.

Зеркальная поверхность, казалось, излучала из себя тонкую, отстоенную веками, отраву, и она постепенно насыщала собою воздух, мебель, картины, цветы, стены...

Голова начинала кружиться, и учащенно дышала грудь. Перед глазами Алексея в свинцовом зеркальном сумраке прыгало его изображение и изображение Кет, постепенно овладевавшее им безраздельно.

Всматриваясь в зеркало, он не узнавал в отражении спокойных черт своей подруги и, отводя глаза от зеркала на ее собственное лицо, не узнавал ее также.

Передвигая тяжелую мебель, невольно касаясь ее руки, бедер, он чувствовал, что все существо Кет переродилось. Ее всегда холодное и спокойное тело, казалось, горело, как расплавленный металл.

Под наваждением странного зеркала Алексей чувствовал и себя каким-то другим. Все те элементы его сущности, которые он научился с годами подавлять, с неожиданной бурностью и силой проявились вновь.

Чувствуя в своих объятиях трепещущее, жаждущее тело своей подруги, Алексей в порыве страстного чувства прижал ее к своей груди и хотел поцеловать ее алчущие губы. Смутно помнил, как Кет спрятала свое лицо за его плечо, и, выскользнув из его объятий, скрылась.

Минуту спустя, и это особенно резко, на всю жизнь врезалось в его память, — он оказался перед помутневшей поверхностью венецианского зеркала.

Венецианское стекло отразило его, как отражает поверхность волнующейся нефти, ломая контуры в кубистических формах смещающихся плоскостей.

Алексей напряженно вглядывался в искривленные черты своего лица, ясно чувствовал всю грубость своей страсти, и эта грубость странно нравилась ему и радовала его.

Какая-то страшная сила тянула все ближе и ближе к пожелтевшей поверхности тусклого стекла. Вдруг он вздрогнул, с ног до головы покрылся холодным потом и, как в подвалах канала Gracìo, увидел перед собою два устремленных на него испуганных, совершенно чужих глаза.

В то же мгновение почувствовал резкий толчок. Его зеркальный двойник схватил его правую руку и с силой рванул внутрь зеркальной поверхности, заволновавшейся кругами, как волнуется поверхность ртути.

На одно мгновение их тела слились в борьбе, и затем Алексей увидел, как его отражение выскочило, заплясало, высоко подпрыгивая посредине комнаты, а он должен был вторить ему в постепенно утихающем зеркальном пространстве.

ГЛАВА ВТОРАЯ, В КОТОРОЙ НА СЦЕНУ ПОЯВЛЯЕТСЯ СТЕКЛЯННЫЙ ЧЕЛОВЕК И ОПИСАНИЕ ЕГО ЗЛОДЕЯНИЙ, ВИДЕННЫХ АЛЕКСЕЕМ ИЗ СВОЕГО ЗЕРКАЛЬНОГО ЗАТОЧЕНИЯ

Вертлявый зеркальный человек, бывший ранее в зеркальном мире алексеевым отражением, — в неистовом восторге плясал по большому персидскому коврику, вывезенному из Шираза, топча его каблуками и высоко подбрасывая ноги.

Через минуту он остановился. Обернулся к зеркалу и залился диким хохотом, показывая язык и грозя кулаками.

Алексей с отчаянием невероятным чувствовал, что черты его лица повторяют гримасы дьявольского двойника, а руки и ноги в каком-то онемении, несмотря на все сопротивление, следуют движению его тела. Стекланный человек, упоенный своею властью, подошел почти вплотную к зеркалу и, иронически выгибаясь в неистовстве невероятных поз, заставлял Алексея свиваться в телодвижениях, напоминавших позы наиболее фантастических персонажей Жака Калло.

Изгибая руки и ноги в вынужденной дьявольской гимнастике, Алексей был подавлен до предела той вульгарностью и омерзительной похотливостью, которыми был преисполнен его чудовищный двойник и ощущал даже некоторое удовлетворение тому, что его сознание оставалось старым, и ни одна его мысль не должна была вторить мыслям стекланный человека.

В бешеной злобе сопротивления, его скоро начало радовать и то, что в иступленности жестов стекланный человек не всему мог заставить его следовать. Иногда бешеным сопротивлением воли Алексей держивал упорством своей руки какое-нибудь омерзительное движение своего двойника, что приводило последнего в неистовство и заставляло в страхе отступать от зеркала.

Напряженная борьба, завязавшаяся сквозь перепонку безмолвной поверхности стекла, внезапно оборвалась.

В комнату вошла Кет.

Рыжие пряди ее волос были перехвачены жемчужными нитями,

и легкая, зеленоватая, совершенно прозрачная мосульская ткань оттеняла опаловые линии тела.

Алексей, потрясенный до последних глубин своего духа, готов был склониться на колени, но руки его мучительно и неожиданно стали хлопнуть в ладоши, вторя движениям восторженного стеклянного человека, который также заметил появление Кет и обернулся к ней.

Алексею показалось, что хрустнули его шейные позвонки и, подчиняясь неведомой силе, голова отвернулась в глубину зеркального мира. В то же время он почувствовал в своих руках скользкое стеклянное тело двойника своей подруги.

Кет была скрыта от его глаз. Обращенный волею зеркального человека внутрь зеркальных пространств, только по движению стоящего перед ним стеклянного существа мог он судить о судьбе своей подруги.

Зеркальная женщина, чьи скользкие стеклянные бедра он вынужденно обнимал, улыбалась ему искривленной иронической улыбкой и изображала страх и удивление, охватившие, по-видимому, настоящую Кет.

Алексей смутно помнил, как через минуту его руки, подвластные чужой воле, грубо схватили внушавшее ему отвращение стеклянное бившееся тело, и неведомая сила повернула его лицом к поверхности зеркала.

В то же мгновение он, поработанный, униженный, безвольный, увидел, как билась в руках его дьявольского двойника живая, родная ему девушка, и как стеклянные руки сжимали ее своими мертвыми объятиями, оставляя на опаловом теле синяки от твердых пальцев.

Через мгновение все уплыло в зеркальном эфире и слилось для памяти Алексея в каком-то тяжелом бредовом сне.

Потянулись дни. Тяжелые свинцовые дни алексеева зеркального бытия.

Впоследствии он не мог вспомнить без содрогания и ужаса тот призрачный безмолвный эфир, в котором плавали бледные существа, иногда повторяющие движения своих земных оригиналов, и еще более страшное полубытие в те минуты, когда ни одна зеркальная поверхность не ловила черты движений того, кому стеклянные существа были двойниками.

Алексея поражали те горести и радости, крайне жалкие на земную оценку, которые составляли жизнь этих призрачных существ, их постоянное сопотвительство своим «хозяевам» и желание овладеть ими. Заставить их отражать свои движения и помыслы.

С содроганием натыкался он в трепетном сумраке зеркальных пространств на отражения давно умерших людей, некогда бывших великими и продолжающих ныне угасать свое зеркальное бытие, лишь изредка заглядывая из своих inferнальных далей сквозь стеклянную пленку в земной мир, пугая своих потомков и наводя трепет на девушек, склоненных над гадающим зеркалом.

С содроганием, доступным для его постепенно угасающих чувств, Алексей убеждался, что его двойник все более и более овладевал его земным уделом и с все возрастающим злорадством и иронией подмигивал ему по вечерам, когда отложив бритву и понутив щеки и подбородок, он смотрелся в зеркало перед тем, как войти в спальню Кет.

Алексей с тоской неизъяснимой наблюдал горестную судьбу своей подружки. Взятая силой, она надломилась, как надламывается под ударами топора молодая береза; подчинилась воле зеркального человека, не пытаясь думать, обессиленная, безучастная всему.

В ночных оргиях, которым Алексей должен был вторить в стеклянных пространствах, сжимая в объятиях ее стеклянный двойник, она была безучастна и отдавалась порочной игре, как кукла, без радости, без воли, без сопротивления.

Алексю казалось, что в этой безучастности Кет он находил какое-то моральное удовлетворение в безысходном круге своих несчастий; с тем большим удовлетворением замечал он, что порочная страсть стеклянной женщины, брошенной в его объятия законами зеркального мира, сдерживалась движениями подлинной Кет, и кипящая ярость стеклянной души не могла ни на один миллиметр изменить вялые движения своего стеклянного тела.

Однако скоро и этому ничтожному моральному утешению начал приходить конец. К ужасу своему Алексей заметил однажды изменение своего собственного сознания и ему стало казаться, что окружающий его стеклянный эфир начал просачиваться сквозь поры его тела и костные покровы черепа и растворял в стеклянном небытии его человеческую сущность. Совершая по воле своего дьявольского двойника какую-то неистовую жестикуляцию, он ощутил до ужаса отчетливо, что неведомая ему моральная плотина начала размываться и скоро стеклянные волны поглотят и растворят его душу.

Ощущение дикой безысходности и предельного отчаяния наполнило его душу тем более, что перед его глазами проходили ужасные картины гибели его земной подружки.

Бледная, изнеможенная, с провалившимися, но неизменно прекрасными глазами, с непонятно вульгарно выкрашенными губами, она, как сомнамбула, почти качаясь и не держась на ногах, сторала с каждым днем.

Однако Алексей был бессилен чем-либо помочь ей. Стеклянные волны все больше и больше заливали его сознание.

Память окончательно выпала из его духовного мира и только изредка inferнальный мрак его бытия освещался какими-то проблесками сознания.

В одну из таких минут Алексей, несмотря на полное притупление своих чувств, был потрясен до пределов невероятных. Перед его глазами блеснули зубы зеркального человека, вонзившиеся в плечо Кет, струи крови, оросившие ее грудь, стеклянные пальцы, впившиеся в ее

горло, и полные ужаса и отчаяния глаза его подруги. Он видел, как вырвалась она, металась по комнате и бросилась к запертой двери своей студии. Через мгновение дикой борьбы дверь сорвалась с миниатюрных петель, и Кет упала у подножия венецианского зеркала.

Алексей увидел, как стеклянный человек поймал за волосы его подругу, притянул к себе, поднял и бросил в бешенстве на пол, снова готовый кинуться на свою жертву. Огненные круги запрыгали в алексеевых глазах. Всем напряжением оставшейся у него воли он бросился к свившимся в неистовой борьбе телам...

В звоне разбитого стекла почувствовал себя упавшим на пол земной комнаты в обломках венецианского зеркала.

Через мгновение увидел насыщенные ужасом глаза Кет, созерцавшей раздвоившегося Алексея, и своего двойника, в животном страхе убежавшего прочь.

В голове Алексея даже не мелькнуло мысли о его преследовании, он забыл о нем, бросился к своей несчастной рыдающей подруге и, прижав ее голову к своей груди, стал покрывать ее плачущие глаза поцелуями и гладить ее волосы.

А когда она успокоилась немного и судорожные рыдания перестали содрогать ее тело, он бережно поднял ее на руки и понес в спальню. Проходя мимо овального трюмо, нечаянно взглянул в него и в ужасе чуть не выронил своей драгоценной ноши.

В зеркальных пространствах в воздухе плыло безжизненное тело Кет, ничем не поддерживаемое. В стеклянном эфире ничто не отражало Алексея, и он почувствовал, что его отражение в трепетном страхе бегает где-то по московским улицам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, СРАВНИТЕЛЬНО СПОКОЙНАЯ, ДАЮЩАЯ ПЕРЕДЫШКУ АВТОРУ, ГЕРОЯМ ЕГО ПОВЕСТИ, А ТАКЖЕ ЧИТАТЕЛЯМ

Прошла неделя с того дня, когда Алексей вновь приобрел свое земное бытие. Кет спала. Пряди ее волос разметались по батисту подушки и брови вздрагивали, подчиняясь видениям сна.

Алексей, отложив в сторону французскую, в желтой обложке, книжку романа, уже более часа смотрел, как дышит ее грудь, и думал.

Он пытался подвести итоги тем разрушениям, которые произвел в его жизни налетевший зеркальный ураган, и решить основной вопрос о возможности восстановления. Черепахи, кактусы и немецкие эротические эстампы, которыми двойник засыпал его комнаты, были убраны в первые же дни. Постепенно возобновлен внешний облик старого бытия, но все же Алексею чудился какой-то запах тления, и гадливое ощущение оскверненности наполняло его душу, когда он входил в комнаты, столь любимые раньше. Потеря своего зеркального отражения и неже-

ление ежеминутно напоминать Кет о происшедшем заставили его убрать из дома все зеркала, и композиция убранства, основанная на бездонных провалах противопоставленных зеркал, беспомощно обнажилась и умерла.

Однако, как полагал Алексей, в мире вещей все могло быть исправимым. Он полагал также исправимым и то стеклянное оцепенение мозга, которое временами возвращалось к нему, превращая его в манекена. Горячие ванны и ленивый покой его жизни уже начали смывать эту отраву зеркальных пространств.

Его гораздо более волновала Кет. Она была искренне рада его возвращению, глубоко изумилась рассказу о стеклянном бытии, в ужасе содрогалась при воспоминании о пережитом и мечтала об отдыхе долгим и уединенном.

Однако спокойные ласки Алексея, нежные кроткие прикосновения его поцелуев как-то не насыщали ее; Алексею чудилось, что разбуженная вулканическая страсть не может удовлетвориться человеческой любовью и человеческой лаской, и это тревожило его безмерно.

Его беспокойство возрастало до пределов чрезвычайных, когда до сознания доходило смутное опасение, что стеклянный двойник не рассеялся, как дым, как наваждение детской сказки, но продолжает жить где-то рядом, караулить свою добычу, и борьба между ними далеко еще не кончена.

Вчера, в вечерней сутолоке Кузнецкого моста, среди цилиндров и колеблющихся эгретов дамских шляп ему показались на мгновение знакомые черты, а в контурах прохожего, поспешно убежавшего по Петровке, он как будто бы узнал костлявые члены зеркального человека. Этот полунаек на встречу находил себе подкрепление в многочисленных московских сплетнях о несуществовавших алексеевых похождениях по игорным домам и другим московским вертепам.

Поэтому в ночной темноте, под мерные удары маятника часов, пред лицом спящей Кет он почти чувственно ощущал, как его противник бродит по московским улицам и взбирается по длинным лестницам с одного этажа на другой.

Кет зашевелилась, нахмурила брови, проснулась и села на диване. Его улыбка застыла на устах, когда он увидел, что спокойные полузакрытые глаза ее вдруг с диким ужасом раскрылись и, выбросив вперед руки, она с нечеловеческим криком упала. Алексей обернулся в направлении ее рук и за отпотевшими стеклянными дверями балкона на фоне изогнутых черных деревьев сада увидел устремленный на него взор глаз, потрясший его впервые в подвалах канала Gracío.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, НАПОЛНЕННАЯ БОРЬБОЮ АЛЕКСЕЯ С ЕГО ЗЕРКАЛЬНЫМ ДВОЙНИКОМ И ЗАСТАВЛЯЮЩАЯ ЧИТАТЕЛЯ ИЗ ОДНОГО МЕ- СТА ГОРОДА МОСКВЫ ПЕРЕНОСИТЬСЯ В ДРУГОЕ И ОБРАТНО

Алексей выстрелил в последний раз наугад в камыши около «Горбатой Ветлы», куда, как ему показалось, метнулась преследуемая тень, и остановился в изнеможении, нервно сжимая рукоятку «Кольта».

Налетевшие волны ветра трепали осенние листья на изгибающихся ветвях прибрежных ив, по небу судорожно летали обрывки облаков, шаря лунными тенями по зарослям сада.

Алексей казался потрясенным и, мысленно измеряя по каплям свои ничтожные моральные силы, чувствовал, как потерянность овладевала им все более и более.

Поздним вечером, когда бледная анемичная Кет, ушедшая глубоко в себя, разливала в круглой столовой чай, он вяло обсуждал с ней план обороны и борьбы с неувимым противником и более пытался поймать взгляд своей подруги, тревожно следя за движениями ее души, чем слушал ее вялые реплики.

Окна были плотно занавешены; камин, полузакрытый экраном, наполнял теплотой и спокойным уютом. Однако тревожная значительность оплотняла собою все: и мигающее пламя догорающих дров, и шорохи ветра в саду, просачивающиеся сквозь занавески окна, и случайный звон чашки, и тихие голоса собеседников, и беспричинный лай цепных собак, пущенных в сад.

Кет вяло отвергала все остроумные алексеевы проекты заманить стеклянного человека в западню и иные способы организации обороны и утомленным голосом просила на всю зиму уехать в подмосковную, где он, несомненно, оправится от потрясений и сможет считать себя в безопасности от страшного преследователя.

Вглядываясь в черты ее лица, Алексей замечал в нем что-то терпкое, темное, брошенное в ее душу взором того, другого, с чем он был бессилен бороться и что приводило его к последней грани отчаяния.

Постепенно его сознание как-то физически сузилось. Комната, догоравший камин и ампирные контуры мебели потонули в туманном сумраке; его мозг охватил припадок зеркального оцепенения, и вскоре все поплыло в неподвижном движении.

Он видел в полузабытии, как встала и ушла Кет, он был бессилен подняться за нею.

Ему казалось, что весь его дом глубоко погружен на дно зеркальных пространств и там, за стенами, где бушевала стеклянная буря, десятки его двойников, совершенно одинаковых, как стая рыб в сонном пруду, кружатся в ожидании добычи.

Он ощущал, что только тонкая перепонка стен и занавесей отделяет его от всепоглощающего стеклянного ужаса, а сами стены дома посте-

пенно растворяются в зеркальном эфире, как растворяется сахар в стакане горячего чая.

Он смотрел на огонь догорающих углей, и синие, уносящиеся вывесь языки пламени вырастали и заполняли все пространство, застилая собою всю комнату, куда бы ни направлял он свой взор...

Среди их волшебного полета он увидел растворившуюся дверь и перед ним не то наяву, не то во сне показалась почтительно склоненная фигура камердинера Григория.

С трудом Алексей убедил себя в том, что эти мелькающие очертания, колеблющаяся в сумраке фигура были реальностью. Но она тотчас же растворилась в пространстве, когда Алексей заметил в ее руках серебряный поднос, а на нем среди всего колеблющегося мира твердый неменяющийся квадрат голубого конверта. Он взял своими бесконечно удлинившимися пальцами твердый конверт, показавшийся ему стеклянным, и внезапно сквозь его пергамент вспыхнули и загорелись обратным зеркальным письмом написанные слова, начали расти, и, казалось, океан стеклянного эфира хлынул в комнату сквозь распавшиеся стены дома.

Алексей, терявший последнюю жизненную опору, вскрикнул, и кошмар, клубясь, рассеялся.

Перед ним стоял перепуганный Григорий и действительно держал на подносе большой голубой конверт.

Отослав Григория и вскрыв пакет, Алексей увидел лист своей собственной бумаги, исписанный его почерком, но только обратным зеркальным письмом, в котором дьявольское стеклянное существо глумилось над всем для него святым, называло его убийцей и предлагало в разрешении спора встретиться завтра, в 6 часов утра у Симонова монастыря, и в честном поединке решить, кому из них надлежало жить под солнцем.

Алексей не пытался заснуть всю эту ночь.

Григорий подходил к дверям его кабинета и в 2 и в 4 часа утра и видел его склоненным перед столом, в свете мерцающих канделябр, разбирающим свои бумаги.

Вся острая ясность сознания вернулась к нему. Отчетливо понимая решительный характер минуты, Алексей приводил в порядок свои дела, написал три заветательных письма и, как только начало светать, накинул синее пальто, вставил новую обойму в свой «Кольт», потушил свечи, дым от которых кругами стал опускаться книзу, и, окинув взором место, где было так много продумано и так много задумано, нажал едва заметный выступ у одного из книжных шкафов. Шкаф бесшумно отодвинулся и обнаружил потайной ход под садом, ведущий к Язу.

Через полчаса Алексей стоял у подножия из Лизина пруда. Полоса тумана застилала собою водную поверхность и поворот шоссе, и обнаженные уже осенью деревья чернели изгибами своих ветвей сквозь сизую утреннюю дымку. Восходящее солнце сверкало на каплях росы. Занимался день роскошного московского бабьего лета.

Целых двадцать минут Алексей нервно ходил взад и вперед по вязкому берегу. Стали показываться люди. Какой-то тряпичник порывлся своим крюком в куче мусора и пылливо посмотрел на Алексея. Проеха-

ли громахья вozy c кaпyстой и, гpомкo разгoвapивая, пpoшли двe бaбы в пeстрыx плaткax и кoфтax гopoшкoм, кyтaясь oт yтpeннeй свeжeсти в шaли и бoязливo пoглaдывaя нa Aлeкceя.

Вpeмя, oчeвиднo, былo yпyщeнo.

Aлeкceй oглaнyлся кpyгoм, и вдpyг yжacнoe пoдoзpeниe нaпoлнилo eгo дyшy. Яcнo пoнял, чтo нeпpoститeльнo глyпo пoпaл в элeмeнтapнyю лoвyшкy. Бeгoм бpoсилcя к зaстaвe.

A кoгдa взымeннeннoй лиxач пoдвeз eгo к Яyзскoмy oсoбнякy, oн yвидeл eгo oкpyжeннeм взыoлнoвaннoй тoлпoй, и чepeз мгнoвeниe гpyбeы pyки пoлицeйcких втoлкнyли eгo в кaбинeт, пoкинyтый им двa чacа нaзaд, гдe зa cвoим cтoлoм oн yвидeл кoгдa-тo вcтpeчaвшeгoсe eмy paнee cyдeбнoгo cлeдoвaтeля Ивaнцoвa.

ГЛАВА ПЯТАЯ

И ПОСЛЕДНЯЯ, СОДЕРЖАЩАЯ КОНЕЦ НАШЕЙ ИСТОРИИ И НЕ-
МАЛО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТОМУ, ЧТО ЗА МОСКВА-РЕКОЮ СУ-
ЩЕСТВУЕТ НЕЧТО, ВЫХОДЯЩЕЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМО-
ГО БЛАГОНРАВНЫМИ ПЕДАНТАМИ

Aлeкceй cpaзy пoнял вce, кoгдa eгo oбвинили в нacильcтвeннoм yвoзe eгo жeны Кeт и yбийcтвe cтapикa Гpигopия, oкaзaвшeгo этoмy yвoзy coпpoтивлeниe.

Тpи днeя пpишлoсь Aлeкceю дoкaзывaть нeдoкaзyeмoe. Тpи днeя oн, зaпepтый в cвoeм кaбинeтe, пoдвepгaлся yнизитeльнeм вpaчeбнeм экcпepтизaм, нeлecтнeм пepекpестнeм дoпpoсaм, и тoлькo пoкaзaния лиxачa Хopхopдинa и нaйдeннoгo чepeз гaзeтнeы oбъявлeния тpяпичникa ycтaнoвили eгo aлиби, пoдтвepждeннoe нecoмнeннeм различиями в кoстyмe и eдиногласнeм yтвepждeниями вceх cвидeтeлeй, чтo yбийцa был лeвoй, чтo coглacовывaлoсь c xapaктepoм нaнeсeннoгo cмepтeльнoгo yдapa.

Пoтoм eгo oстaвили в пoкoe в oпyстeвшeм Яyзскoм дoмe.

Aлeкceй пpoплaкaл цeлыe cутки в ocирoтeвшeй кoмнaтe Кeт, лишeннeм сил дaжe oбдyмaть пpoиcшeдшee. Eгo cмятeннyю дyшy пoтpясaлo вce, близкoe Кeт.

Oн pacплaкaлся, нaйдя кpacный кapaндaш, кacaвшийcя ee гyб. Нeпoнимaющeм тyпым взopoм cмoтpeл нa ee ceрыe тyфли, бpoшeннeы пocpeдинe кoмнaты, c yжacoм yгaдывaл пocлeднeы cтpoчки, нa кoтopых oстaнoвилcя ee взop в poкoвyю нoчь в oстaвшeйcя нeдoчитaннoй книгe.

Тoлькo двa днeя cпycтя y нeгo пoявилoсь нeкoтopoe coмнeниe в нeизбeжнoсти ee гибeли, cтoль oчeвиднoй в пepвыe дни.

Aлeкceй пocтeпeннo coбpaл cвoи мыcли и пaмять и нaчaл бoлee cпoкoйнo вocстaнaвливaть кapтинy ee пoхищeния.

Кaк этo чacтo бывaeт, нoвoe пoтpяceниe cмыcлo coбoю cтapoe, и oн избaвилcя coвepшeннo oт пpипaдкoв cтeклaннoгo oцeпeнeния, пocтeпeннo вepнyв ceбe былyю бoдpoсть.

Осматривая в сотый раз комнату Кет, так и оставшуюся необустроенной с рокового утра, он заметил однажды между краем тюфяка и доскою кровати несколько медных монет, зубочистку и сложенную вдвое картонную карточку, очевидно, оброненные во время борьбы и просмотренные судебными властями.

Карточка представляла собою рекламный плакат хиромантки и гадалки на бобах и кофейной гуще Элеоноры де Раманьеско, проживающей где-то на Канаве, в переулках Пятницкой улицы...

Это было очень немного, но все-таки это был след. Прилив какой-то неожиданной бодрости потряс все алексеево существо, казалось, сами витиевато напечатанные черные буквы рекламной карточки излучали из себя флюиды энергии.

Ему пришлось немало покружить по набережной Канавы, между Пятницкой и Кадашевскими переулками, пока нашел он то, что требовалось по сложному и по-московски запутанному адресу.

Был разгар московского бабьего лета. Водовоз заехал на середину обмелевшей Канавы и наливал черпаком воду в свою зеленую бочку.

Двое мальчишек плескались в мутной воде, а куча ребят толпилась около мороженщика.

Ряли паутины, и купы белых облаков стояли неподвижно в призрачном осеннем небе.

Во владении мещанина Перхушкина, за деревянным, крашенным вохрой двухэтажным строением оказался чахлый сад запыленной акации и сирени, а за ними мрачный монументальный корпус, каменный, с маленькими окнами, возведенный задолго до Севастопольской кампании.

Алексей долго дергал за ручку дверного звонка и стучал, не решаясь войти в полуотворенную дверь, но, наконец, набрался смелости и перешагнул за деревянный, обитый когда-то войлоком порог и поднялся по осевшей, покосившейся вправо лестнице во внутренние покои.

Какой-то странный запах лампадного масла, ладана и старых книг, который иногда бывает в архиерейских домах и епархиальных музеях, затуманил его сознание.

Он вошел в первую комнату, очевидно, приемную гадалки, и невольно ироническая улыбка мелькнула на его устах при виде наивной декорации, долженствующей, очевидно, по представлению хозяйки поразить сознание ее клиентов.

Дико размалеванные по стенам пентакли и астральные треугольники, знаки зодиака и странная мебель в виде треножников, египтообразных курильниц и ампириных соф, вроде той, на которой возлежит госпожа де Рекамье на картине Давида,— в свете осеннего яркого дня казались театральным бутафорским хламом, купленным по случаю на Смоленском рынке.

Алексей кашлянул и прислушался. В подавляющей тишине он мог различить только, как в отдаленной комнате капля за каплей капала какая-то жидкость.

Очевидно, хозяйка, не ожидая посетителей, ушла по соседству и должна была с минуты на минуту вернуться в оставленный дом. Алексей хотел было в ожидании присесть на одно из «магических» сидалищ, но, всматрившись в свои, в сущности, вспищичьи намерения, решительно двинулся в глубь внутренних комнат.

Следующая зала поразила его своим еще более выдержанным магическим убранством. Старинные реторты и перегонные кубы, какие-то астралабии и целые ворохи старинных книг в желто-серых переплетах свиной кожи, с черными латинскими литерами на корешках вселили в его душу странное смущение, тем больше, что все эти предметы носили не музейный характер, а имели очень держанный вид и были брошены так, как будто ими только сейчас пользовались.

Алексею вдруг показалось, что все они имеют здесь не декоративный, а свой подлинный, первоначальный серьезный смысл, и у него закружилась голова.

Он взял в руки толстый том, на корешке которого стояло слово «Oculto», и не успел отстегнуть застежку переплета, как книга раскрылась, вырвалась из его рук и закружилась волчком, стала вертеться по комнате, теряя страницы и разбрасывая встречающиеся предметы.

Алексей попятился к окну и отскочил от него потрясенный. Вместо перхушкинского огорода он увидел сквозь оконные стекла сотни осклабившихся рож слетевшихся зеркальных призраков.

Одним прыжком он бросился к двери и выскочил в нее. В ужасе увидел, что вместо гадалкиной приемной, из которой только что ушел, он очутился в огромной зале, в стены которой были вделаны огромные мутные зеркала, где плыли, как поверхность реки, мутные волны каких-то отражений, а в воздухе — то там, то тут — вспыхивали искры электрических разрядов и нестерпимо пахло озоном.

У Алексея все более и более кружилась голова, в глазах запрыгали огненные кольца, лоб покрылся холодным потом, и он схватился за голову.

В ту же минуту он увидел перед собою в зеркале неистово прыгающее свое отражение, показывающее ему нос и с диким смехом угрожающее кулаками.

С воплем ярости Алексей кинулся на него и со всего размаха ударился о твердую поверхность. Послышался звон разбившегося стекла. Алексей ринулся в какую-то темную бездну и увидел себя скользящим вверх ногами по поверхности гигантской черной агатовой воронки, на противоположной стороне которой в диком неистовстве скакал его двойник, а внизу суживающегося раструба сверкало, залитое ртутью, жерло колодца.

Пальцы скользили по агатовому пуску, не оставляя даже следов от впиавшихся в полированный камень ногтей, и Алексей видел, как его двойник готовится нанести ему последний удар, когда он достигнет до устья ртутного колодца.

Нечеловеческим напряжением воли в последний момент у самого края бездны Алексей почти с колен прыгнул через ртутную поверхность прямо на спину склонившегося стеклянного человека. Не ожидавший

нападения, он оступился и рухнул вниз всей тяжестью своего тела, увлекая с собой Алексея. В неистовой борьбе они слились в клубок и медленно скользили под сверкающую поверхность разжиженного металла.

В ту же минуту Алексей почувствовал, что его колени уперлись в дно. Нечеловеческим порывом он схватился за горло стеклянного человека и, припав к его телу головой, рванул в глубину ртутной бездны. Поднял свою голову наверх и продолжал душить под покровом ртути слабого и барахтающегося противника.

Жидкий металл прыгал под его руками, и он не видел ничего, кроме сверкающей поверхности, так как с а м о н в н е й н е о т р а ж а л с я.

Стеклянный человек стих, но руки Алексея продолжали его душить, испытывая странное ощущение, будто его жертва набухает, превращается в кисель и расплзается. Алексей вздрогнул, увидев, как на ртутных волнах запрыгали какие-то пятна. Мгновением позже он понял, что это куски его отражения, еще разорванные, еще не подчиненные. И в тот миг, когда его пальцы сомкнулись, потеряв остаток растворившегося в ртути стеклянного существа, он увидел вновь свое полное и подвластное ему отражение.

Силы оставили его, и он с ужасом почувствовал, что ноги и руки подгибаются, и Алексей в изнеможении склоняется в адские объятия жидкого металла.

В следующее мгновение он ударился головой обо что-то твердое и на миг лишился сознания. Придя в себя, понял, что лежит на зеркале, нашел силы подняться и увидел себя посередине совершенно пустой залы перхушкинского дома, лежащим на поверхности странного по форме зеркального вещества, как будто бы политого на пол и застывшего.

Насколько можно было разобрать при лунном свете, заливавшем все, — окна дома были давно выбиты, космы паутины, обоев и пакли спустились со стен и полуобвалившегося потолка.

Алексей встал и убедился, что зеркальная поверхность покорно отражает его; прошелся по комнате и в двери, лишенные створок, увидел, что дом был пуст и, очевидно, многие годы необитаем.

Качаясь, спустился по полуобвалившейся лестнице.

В темноте перхушкинского двора на него залаяла собака, в воротах покосилась баба, щелкая с каким-то солдатом орехи.

Он дотащился до первого извозчика и велел ему ехать к себе на Язу.

Чувствовал, что все лицо в крови, а тело ныло от синяков и кровоподтеков.

На Спасской башне пробило одиннадцать.

Возница тянулся медленно, и сумрак ночных московских улиц не то радовал, не то болезненно давил Алексея. На Пятницкой его сознание обожгли сверкающие зеркала какой-то парикмахерской. Он остановил извозчика, выскочил из пролетки и с трепетом сердца подошел к витро.

Зеркальный овал покорно отразил его бледное, изнеможенное, со следами стертой крови, лицо. Снова поехал.

И ему казалось, что длятся годы и проходят дни от удара одной подковы до удара другой.

Не желая будить домочадцев, остановил извозчика за садом, отворил ключом калитку и вошел потайным ходом.

Бесшумно отодвинулся шкаф с эльзевирами, и вместе с потоками света на Алексея пахнуло теплом и уютом его кабинета.

Он вздрогнул и оцепенел: у камина, освещенная розовыми отсветами догорающих дров в старом вольтеровском кресле сидела Кет. Услышав шорох, она подняла глаза.

[1923]

ЮЛИЯ, ИЛИ ВСТРЕЧИ ПОД НОВОДЕВИЧЬИМ

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ, НАПИСАННАЯ
МОСКОВСКИМ БОТАНИКОМ Х.

О Л Ь Г Е —
*спутнице дней моих
посвящаю эту книгу.*

12 апреля 1827 года

Бесспорно, господин Менго должен почитаться одним из чудес современного мира!.. С тех пор, как он появился на поприще билиярда, все законы Эвклида и Архимеда рассеялись, как дым.

Ударенный шар вместо абрикосе бежит по кривой; шар, на вид едва тронутый, касается борта, отлетает от него с неожиданной силой и делает круазе от трех бортов в угол.

И только представить себе, что разгадкой сему необычайному волшебству — всего-навсего незначительный кусочек кожи, прикрепленный к кончику кия, усовершенствованного господином Менго.

Отныне для совершенного игрока нет более невозможной билии. Одухотворенные шары...

Впрочем, я должен рассказать все по порядку...

Как только стало известно, что господин Менго, или, как он пишет по-французски — Mingaud, — уже приехал из Варшавы и остановился в номерах Шевальдешева, все почитатели его таланта собрались в билиардных залах Купеческого собрания... Наш ментор и ценитель Роман Алексеевич Бакастов, маркер сего почтенного клуба и достойный преемник непобедимого Фриппона, уверял в возбуждении, что французу про-

тив Протыкина не вытянуть. Молодежь, наскучивши ожиданием, сбилась в углу диванной, где конногвардеец Левашев, только что вернувшийся из Санкт-Петербурга, утверждал превосходство Велбреховой над московскими артистками, чем заставлял багроветь шею майора Абубаева...

А сам герой дня, мой приятель Протыкин, красный от волнения, делал шар за шаром, разминая мастерскую руку.

Менго заставил себя ждать изрядно. Когда терпение наше было на исходе, он появился в сопровождении старшин и в напыщенных словах, любезных до приторности, сообщил, что за дорожной усталостью играть сегодня не в состоянии и просит разрешения быть на сегодняшний вечер простым наблюдателем московской игры, знаменитой на его родине еще с 1813 года и *si presieux, si delicieux*¹.

Ропот возмущения был ему ответом.

Несколько горячих голов, столь же мало учтивых, как и мало взрослых, требовали, чтобы маэстро, столь осторожный в отношении своей славы, просто без игры показал хотя бы один из своих столь прославленных ударов.

Надо думать, что я, разгоряченный долгим ожиданием, выделялся своим чрезмерным волнением среди негодующей толпы, потому что господин Менго именно ко мне обратился, прося меня сделать ему одолжение и разбить первым шаром белешую на бильярдной зелени пирамиду, заботливо поставленную Бакастовым.

Вся кровь прилила у меня к голове, и дрожали руки от неожиданности той роли, которая была на меня возложена. Пятнадцать шаров двоились в моих глазах. И хотя я и хотел из любезности расшибить пирамиду вдребезги — рука дрогнула, едва не вышел у меня кикс. Желтый ударился в правый угол и отбил только три шара. «*Parfaitement*»², — сказал Менго, взял кий и разом все стихло кругом.

Мне было досадно за свою неловкость, и я к тому же почему-то обозлился на наглый тон француза. Однако вместе с другими впился глазами в кончик его кия.

В гробовой тишине послышался сильный, четкий и необычайно низкий удар. Шар стремительно рванулся вперед и... пролетел мимо подставленного мною на простой дублет седьмого номера.

Цицианов даже свистнул от неожиданности. Еще момент и, казалось, менговский биток пойдет писать гусара. Как вдруг промазавший биток, не доходя двух четвертей до борта, сам по себе останавливается посередине поля, стремительно возвращается назад, четко берет от борта крепко приклеенный шар, делает контр-ку, посылает пятый номер в лузу, а сам вдребезги разносит недобитую мною пирамиду.

Рев восхищения был наградою гению бильярда.

¹ Здесь: такой захватывающей, такой великолепной /франц./

² Прекрасно! /франц./

Менго, побледневший от напряжения, как будто бы даже не заметил, что был столь необычно аплодирован, и продолжал делать билию за билией, делая невозможное — возможным, трудное — игрушкой, и каждым ударом посылая ко всем чертям все законы математики.

На наших глазах он кладет подряд 15 шаров и в изнеможении падает на кресло.

Мы неистовствуем, а когда успокаиваемся, то ищем свою надежду, своего героя, своего игрока Протыкина, но не находим его.

Его не оказывается также и в соседних залах.

Смущенный Бакастов рассказывает, что после первой же билии француза Протыкин сломал в досаде надвое свой кий и выпрыгнул в окно.

Бросились искать и ободрить его. Обшарили все московские улицы и подходящие места, но тщетно.

Бывают же такие люди, такие колоссы, как Менго!

13 апреля 1827 года

Спешу записать странное событие сегодняшней ночи. Вернувшись домой из Купеческого собрания, я был в страшном волнении, сон бежал от меня, и я писал при догорающих свечах свой дневник, покауда они не погасли.

В голове раздавалось щелканье шаров, и стоило мне закрыть глаза, как проклятые эти менговские шары начали бегать передо мной.

Проснулся я на рассвете от страшного стука в окно. На фоне красной полосы занимавшей зари, сквозь запотелые стекла виден был человек, который, наклонившись к окошку, неистово стучал кулаком по раме.

Я вскочил и подбежал к окну.

Это был Протыкин.

«Ну, брат, и история! — сказал он, влезая в отворенное мною окно. — Мадера у тебя есть?»

Всклоченный, с подбитым глазом, с воспаленными от бессонной ночи зрачками, он забился в угол дивана и, выпуская клубы дыма, начал описывать свои похождения.

Из его бессвязных и отрывочных фраз можно было понять, что, придя в отчаяние от первой же билии Менго и предчувствуя полный разгром своей биллиардной славы, Протыкин сломал в отчаянии свой кий, выскочил с подоконника, на котором он стоял, наблюдая игру Менго, в тишину клубного сада и в горести решил напиться, как стелька.

Однако в первом же кабаке его взяла такая грусть, что неудержимо потянуло к цыганкам и он начал искать, не поет ли где Стешка. Однако рок преследовал его и на путях искусства... Степанида с дочерью уехали петь в Свиблово к Кожевникову и увезли с собою чуть ли не все московские таборы. Осталась одна надежда на последнее убежище всех допив-

шихся до белых слонов гусаров — Маньку-пистон, которая, как рассказывали у нас, года два назад своей разухабистой песней «Разлюбил, так наплевать, у меня в запасе пять» произвела землетрясение на Ваганькове, так как все похороненные там гусары не выдержали и пустились в пляс в своих полусгнивших гробах.

Манька жила где-то в Садовниках. Протыкин уже прошел через Устинский мост и приближался к старому комиссариату, как вдруг остановился потрясенный.

У самого берега Москва-реки, в круге тусклого света уличного фонаря стояла девушка.

Несмотря на холодную ночную пору, она была в одном платье с открытыми плечами и руками.

В мигающем на ветру свете фонаря Протыкин успел разглядеть только огромные глаза, пепельно-серые волосы, взбитые в несколько старомодную прическу, и сверкающее ожерелье.

Было непостижимо, что она могла делать здесь, в такой час, одна, и в таком костюме.

Мгновение они стояли друг перед другом в молчании... Затем девушка протянула ему руку.

Протыкин почувствовал холодное прикосновение тонких пальцев к своей руке, и в тот же миг сильный удар по лицу сбил его с ног вниз в Москва-реку, и в воздухе зазвенела отвратительная ругань...

Когда Протыкин взобрался наверх на набережную, девушки не было и где-то далеко между фонарями бежала, сгорбившись, человеческая фигура...

13 апреля, вечером

День вышел незадачный. Едва успел уйти взволнованный Протыкин и я наскоро записал его ночное похождение, как на двор со звоном влетела вся покрытая грязью данковская вороная тройка и батюшкин конюший Емельян ввалился ко мне в комнату с батюшкиным письмом в руках.

Письмо наполнило меня грустными воспоминаниями. Батюшка подробно описывал мне гибель гнедого Артаксеркса, который оступился на гололедице и сломал себе ногу... Несчастного пришлось пристрелить.

Несчастный Артаксеркс! Как приятно бывало, вернувшись весною из душных стен благородного пансиона к данковским пенатам, вскочить на твою широкую спину и скакать через старые гумна к Елоховскому пруду на водопой.

Могу ли я когда-нибудь забыть маленькую ножку Наташи Храповицкой, ласкавшую твои крутые бока, о Артаксеркс, в памятную поездку на Яблонку... Увы, увы, давно ли это было, а сколько воды утекло с это-

го памятного дня, и помнит ли теперь графиня Маврос наши детские клятвы. Увы, улы...

Батюшка писал, что для весенних полевых разъездов ему необходимо в ближайшие же дни под верх новую лошадь, могущую столь же легко носить его породную фигуру, как это делал покойный Артаксеркс. А потому просил купить, не медля, по сходной цене крепкого жеребца, не ниже трех вершков.

Вместе с Емельяном обрыскали мы сегодня все московские конюшни, побывали у всех знаменитых содержателей, англичан и русских... Видели у Банка Доппля от Ковентри и Тритона, а у Джаксона вывели нам самого Тромпетера от Трумпатера. Не лошадь — огонь, рыжий с флагами, но жидковат для батюшки.

Пришлось побывать и на частных конюшнях у Закревского, Давидова и Панчуладзиева. Больше всех понравился мне панчуладзиев жеребец Замир. Бурый в масле, большого роста, широкий, ноги плотные, шея лебяжья с зарезом, голова небольшая, уши острые, глаза навывкате и оскал такой, что в ноздрю хоть кулак суй; хвост и грива, хотя и жестковаты, но в остальном не уступят и самому Тромпетеру. Дороговат, да зато для батюшки лучше и не выдумаешь.

Оставил Емельяна торговаться и кинулся в Купеческое собрание любоваться подвигами Менго. Еще по дороге от скачущего во всю прыть на наемном колибере Тюфякина, нашего первого нувелиста, узнал я о совершенном его триумфе.

Клубские залы были переполнены до невозможности. Среди посетителей мог я отметить немало и биллиардных игроков Английского клуба.

Менго не только делал все билии, но, играя в черед, всегда оффрировал партнеру такие шары, что они либо были накрепко приклеены, либо стояли в труднейшем абриколе.

Когда я протиснулся в биллиардную залу, то француз, не зная чем еще выразить свое превосходство, заявлял с удара два шара и делал их как простые угольники. Преимущество было настолько велико, что игры собственно не было и даже было неинтересно.

Бакастов попробовал было играть в пять шаров на сплошных кихсах, но на третьем же шаре бросил игру.

Протыкина не было, но его похождение было уже известно всем и сверх моего ожидания не вызвало большого удивления, так как за последний месяц Корсаков и Ребиндер, хотя и не получали в рыло, но сталкивались с блуждающей дамой.

Все терялись только в догадках, кто она могла быть. Невест, как известно, в Москву из степных деревень привозят одновременно с поросятами — к Рождеству, а по платью и общему теню она не могла быть мецканкой.

Бакастов, мрачный и раздосадованный проигрышем, крушением всех своих теорий и в еще большей степени распространившейся сплет-

ней, будто его лучший ученик Протыкин еще поутру поступил в обучение к господину Менго,— чертыхался и объяснял все дьявольскими происками фармазонов.

Сообразно случаю, рассказал он нам про те обстоятельства, при которых дал он зарок более не играть в кегли. Рассказ Бакастова вышел столь достопамятным, что я почитаю за должное записать оный в свою тетрадь.

По его словам, еще будучи мальчиком, служил он у Мельхиора Гротти в вокзале при кегельбане на предмет подавания шаров. В те дни в Москве подвизались иллюминаты и среди них некий барон Шредер.

Случилось быть проездом через Москву гишпанскому полковнику Клепиканусу, большому любителю кегельной игры. В недобрый час побился он со Шредером на крупный заклад против его, барона Шредера, пенковой трубки, что обыграл его в два счета. Начали играть. Клепиканус с первых же четырех шаров разбивает всю девятку.

«Поставил, это, я заново кегли для барона,— рассказывал, размахивая руками, Бакастов,— а тот, поди, и шаров-то в руки никогда не брал. Первым шаром промазал, вторым — мимо, третьим — тоже не лучше... Ну, думаю, не видать тебе твоей пенковой трубки. Только гляжу, это, я — барон-то наш, как схватился за голову, да вместо четвертого шара своею собственной бароньей головой по кеглям как тарыхнет... Только тарарам пошел. Вся девятка в лежку. А из воротничка-то у него дым идет. Подбежал, это, я к кегельбану за кеглями, гляжу, господи боже ты мой, святая владычица трояручица, — вместо кеглей-то человечьи руки да ноги, а голова-то вовсе не Шредерова, а Клепикануса. Оглянулся. Барон Шредер стоит себе целехонек и пенковую трубку курит. Клепикануса вовсе нет, а гости все от ужаса окарачь ползают».

Рассказ недурен, только надо думать, что Бакастов заливает.

22 апреля 1827 года

Весь день сегодня опять погубил я на лошадей. Панчуладзиев меньше чем за тысячу не отдавал.

Целое утро искал другую лошадь. Даже до цыган доходил. Наконец умолил Петра Григорьевича уступить Замира за восемьсот.

Вечером был на обеде у Долгорукова Юрия Владимировича, прежде бывшего главнокомандующего московского. Хотя многие и говорят, что прежние годы состоял он в фармазонах, тем не менее старик всегда приветлив и мрачности в нем я никогда не замечал.

Обед был на 80 кувертов, и я никогда не видывал такого стечения, как сегодня. Мог я отметить Петра Хрисанфовича Оболянинова, нашего предводителя, Александра Александровича Писарева, попечителя Московского университета, Степана Степановича Апраксина, нашего мецената и покровителя московской Талии, а в конце обеда подъехал сам граф Федор Васильевич.

Что бы ни говорили наши зоилы, должен признать, что общение со столь знатными особами возвышает и облагораживает.

Говорили о разном, а больше всего о завтрашнем спектакле «Павильон Армиды», и Шаховской хвастал, что Гюлен Сорша должна на этот раз превзойти самое себя, особенно в «*pas de deux*» с Ришардом-младшим.

Протыкинское приключение всех рассмешило изрядно, и остроловцы интересовались, какое количество шкаликов довело моего приятеля до замоскворецкой сильфиды; Измайлов даже сочинил экспромт, намекающий, что не только дамы, но и кулака не было, а просто пьяный Протыкин стукнулся лбом о фонарный столб.

Жалко, что не успел я записать эти острые слова.

25 апреля 1827 года

Я задыхаюсь. Я не могу перевести дух. К черту Измайлова, к черту наших скептиков.

Я не брал в рот ни единой капли вина и я видел ее. Это она, бесспорно она — протыкинская незнакомка!

Было уже близко к полуночи, когда вышел я из Петровского театра, потрясенный воздушными па Гюлен Сор, которая была аплодирована как никогда.

Мне не хотелось идти домой и я, желая преобороть свое волнение, пошел бродить по улицам. Была лунная ночь. Редкие облака, гонимые ветром, бежали тенью по московским домикам и заборам.

Не успел я дойти до Каменного моста, как увидел в лунном сиянии медленно идущую девушку. Она была в одном платье с открытыми плечами и руками. В мигающем на ветру свете фонаря я мог разглядеть только огромные глаза, пепельно-серые волосы, взбитые в несколько старомодную прическу, и сверкающее ожерелье.

Я сделал несколько шагов в направлении к ней и тотчас заметил сутулую фигуру, ковылявшую в отдалении. Вспомнив печальный опыт Протыкина, я понял, что всякая попытка приближения кончится для меня дракой, и остановился. Между тем девушка заметила меня и также остановилась, протянула мне руки и, как бы призывая на помощь, махала мне платком. Вся кровь прилила у меня к голове, я смерил глазами уже приблизившегося карлика, угрожающе размахивавшего кулаками, и бросился между ними. Увернувшись от предназначенного мне удара, я изо всей силы саданул своего противника в перекосившееся от злобы лицо, но кулак мой... пронзил пустоту и я растянулся на мостовой.

Карлик захохотал и исчез в темноте, оставив в моих руках драгоценный платок, оброненный незнакомкой. Девушки не было. Пробежав более часа по всем перекресткам, я остановился. Сердце мое билось. Я прижал к груди драгоценный платок и, простояв несколько минут в порывах все более и более крепнувшего ветра, поплелся домой.

Плотно затворил двери и окна своей комнаты. Выкинул всякую чепуху из бабушкиной шкатулки и положил туда данный мне небом залог любви. Забился в уголок дивана и стал курить трубку за трубкой, обдумывая план действий.

Нет мыслей в моей душе, нет дум, и только образ любезнейший, нежнейший образ витает в моем сердце. Смотрят сквозь стены огромные серые глаза, и пряди пепельных волос стелятся по ветру.

.

Ужас наполняет душу мою, ум теряется и голова начинает кружиться... Сейчас, желая посмотреть при свете восходящего солнца завоеванный трофей, подошел к окну, открыл бабушкину шкатулку и в ужасе содрогнулся. Она была пуста, и из ее глубины поднялся какой-то смрад, напомнивший мне по запаху табачный дым английского кнастера. У меня выступил холодный пот и почему-то вспомнился мне рассказ Бакастова о чертовом кегельбане.

Что же мне делать?

8 мая 1827 года

Более двух недель не раскрывал я своего дневника, да и нечего было писать. Одна досада...

Друзья принимают меня за сумасшедшего, и только Протыкин, приободрившийся после уроков, взятых им у господина Менго, и восставивший свою бильярдную славу, — дружески в знак понимания пожимает мне руку.

Моя охота за незнакомкой тщетна. Я сбил двое ботинок, граня московские улицы... Увы, — без успеха. Я бы давно бросил свои безумства, но клянусь головой Бахуса, что дважды видел ее.

Однажды перед поездкой в Башиловский вокзал я сидел с Ребиндером и Костей Тизенгаузеном в кондитерской Педотти на Кузнецком и бешено спорил о преимуществе голоса Синецкой над прославленным голосом петербургской Колосовой... как вдруг остановился на полуслове... На противоположном тротуаре шла моя незнакомка. Я опрокинул стол и бросился к выходу... Улица была пуста.

Другой раз я гнался за нею по Полянке. Она заметила меня, обернулась, протянула ко мне умоляюще обе руки и вдруг пропала.

Странно было только, что пропасть-то ей было некуда. И справа и слева тянулись заборы замоскворецких садов, и сколько я ни общаривал их, нигде не было видно никакой калитки.

Смущало меня также и то, что в этот раз она была как бы значительно выше ростом, чем в первые две наши встречи.

Но это была она, бесспорно она. Те же пепельные локоны волос, те же огромные серые глаза, то же сверкающее ожерелье.

Теперь вот уже более недели я не видал ее. С грустью таскаюсь днем по всем московским кабакам и кофейням и, к ужасу своему, приставил к курению табака.

Целые ночи напролет страдаю бессонницей, читаю и немилосердно курю трубку за трубкой.

Начал даже понимать тонкости табачного вкуса. Поначалу забирал я арабские и турецкие табаки у греков на Никольской, все больше у Кордия, но, втянувшись, нахожу их жидкими. Купив как-то у мадам Демонси английского с медом сваренного кнастера, перешел я к табакам американским и наипаче голландским, которые постоянно и лучшего достоинства в старой Нюрнбергской лавке у Пирлинга, состоящей на Ильинке, в доме купца Варгина.

Якобсон снабдил меня пенковыми трубками, и я предаюсь отчаянию в голубых струях голландских табаков. Мир отошел от меня, и весьма редко доходят до меня новости, потрясающие Москву; только неделю спустя узнал я о странном исчезновении господина Менго, надевавшим столько хлопот нашему московскому обер-полицмейстеру, добрейшему Дмитрию Ивановичу Шульгину, а о том, как Варька с трелью из соколовского хора разбила гитару о голову достойнейшего Степана Степановича, узнал только сегодня. Нахожу жалкие радости в самих терзаниях и мечтаю о хорошо обкуренном кенигсбергском янтаре, собираюсь даже в воскресенье двинуть на Смоленский... Может, найду там у старьевщиков.

12 мая 1827 года

Опять я в волнении, опять у меня трясутся все поджилки. Я, кажется, нашел путеводную нить... Однако по порядку.

В поисках за обкуренным янтарем пошел я сегодня, как и намеревался, на Смоленский рынок, в старый ветошный ряд.

Долго рылся я безо всякого успеха среди всякого железного хлама, обломанных рюмок, синих стеклянных штофов и изъеденных мышами книг, среди которых попалась мне на глаза занятная книжонка про египетские обыкновения, называемая «Крато репея» и изданная покойным Новиковым.

Янтарей не было, и я уже собирался уходить, как увидел на рогоже, среди двух сабель, старого патронташа и всякой дряни, фарфоровую трубку удивительной раскраски. На синеватом фарфоре хитро переплетались знаки Зодиака и окружали сверкающий позолотой герб или, быть может, магический пентакль.

Я поднял ее и начал рассматривать. Ничего подобного не было в моей коллекции.

«Что стоит, хозяин?» — спросил я у восточного человека, сидящего перед рогожей на корточках и распространявшего на полверсты запах чеснока.

«Последняя цена пятнадцать рублей», — заломил он с обычной наглостью.

«Я даю двадцать!» — услышал я голос из-за своей спины.

Обернулся и онемел от внезапной неожиданности. Передо мной стоял мой противник, у которого отбил я в памятный вечер шелковую шаль моей незнакомки.

«Тридцать!»

«Сорок!»

«Пятьдесят!»

«И еще пять!»

«Семьдесят!» — заявил я в ажитации.

«Молодой человек, — обратился ко мне карлик. — Будет Вам дурака-то валять. Мне эта трубка нужна в неперменности, а Вам она ни к чему. Давайте, если уж Вам так угодно, разыграем ее на орел или решку».

У меня в кармане было немногим более семидесяти целковых, и стоило старику набавить десятку, как я выходил из игры. Поэтому мне ничего не оставалось, как согласиться на сделанное предложение.

«Только знаете что, — обратился я к старику, который как будто начал меня припоминать, — не зайти ли нам в трактир и не разыграть ли нам пипочку на бильярде».

Мне казалось, что я смогу не без выгоды использовать протыкинские уроки.

«Извольте. Почему бы и нет? — усмехнулся мой собеседник. — Как бы только не пришлось Вам пожалеть впоследствии, молодой человек».

«Тем лучше для Вас! Условимся только, что, ежели мне суждено будет проиграть, Вы не откажетесь рассказать, чем, собственно, замечательна эта трубка и почему Вы ею дорожите».

«С превеликим удовольствием», — произнес старик, и мы вошли в бильiardный зал трактира.

В прогормом от табачного дыма воздухе, на зеленом бильiardном поле выросла перед моими глазами пирамидка шаров, задрожала в какой-то необычайной отчетливости очертания и тотчас же поплыла в тумане... Мой противник с неожиданной для его хилого тела силою первым же ударом раскатал ее и подставил мне шары под астрорябию и простые угольники.

Я взял кий, закусил нижнюю губу и, памятуя протыкинские наставления, стал резать подлужные шары почти на киксах. Раз, два, три... пять билий подряд клал я шар за шаром и только на шестой попал в коробку и пошел гусаром.

«Недурно, молодой человек, совсем недурно для начала», — промолвил карлик, весь как-то надулся до крайности, бочком подошел к бильiardу, прищурил глаз и стукнул по седьмому номеру.

Два раза от борта, круазе и в правую лузу, и притом с такой силой и треском, что все посетители вздрогнули и поспешили к нашей игре, и я сразу почувствовал, что погиб.

«Тэкс, молодой человек!» — И снова удар в двойное апроше и два шара в лузу.

«Тэкс!» — И снова чисто сделанный шар.

Кругом стояла стеной восторженная толпа трактирных завсегдатаев, даже толстобрюхий буфетчик, с золотой цепочкой на жилете, и тот вышел из-за стойки и уставился глазами на шары.

«Тэкс, молодой человек!» — И снова удар, какой-то особенный, снизу, по-карличьему обыкновению. Билия за билией, шар за шаром, и вдруг у меня мурашки забегали по спине. Диковинное движение шаров показалось мне до ужаса знакомым, когда-то совсем недавно виденным, неповторяемым.

Еще момент, диковинный контр-ку в двойной шпандилии, и я не мог уже сомневаться, что передо мной в карликовом облике сам столь таинственно пропавший господин Менго собственной персоной.

На меня напала мелкая дрожь, и огненные круги завертелись в глазах, когда мой страшный противник под ропот восхищения сделал последний шар и, прищутив глаз, подошел ко мне.

«Так-то, молодой человек! Плакала Ваша трубка. В орлянку-то Вам было бы куда способнее со мной тягаться».

Трубка была уже в его руках, и он собирался уходить, когда я очнулся от столбняка и задержал его движением руки.

«Послушайте, почтеннейший, трубка бесспорно за Вами, но не забудьте, что по нашему уговору она будет Вашей только после того, как Вы расскажете о ее достоинствах».

«С превеликим удовольствием, дражайший мой, с превеликим удовольствием», — ответил мой страшный собеседник, придвинул стул к моему столу и, прищутив глаз, начал.

«Слыхали ли Вы, молодой человек, как в Филях прошлым летом один из курильщиков табака был взят живым на небо?»

На мой отрицательный ответ старик придвинулся ко мне поближе и рассказал удивительную историю. По его словам, в начале прошлого лета неизвестно откуда приехал в Филю какой-то не то француз, не то немец и снял у Феогностова домик на пригорке по дороге к Мазилкову. «Ничего себе, хороший немец, тихий... Только что начали за ним наблюдение иметь; сначала, значит, мальчишки, а потом, когда всякие художества за ним обнаружили, и настоящий народ».

«...настоящий народ» прозвучало у меня в ушах низким фальцетом, и я чуть не упал от неожиданности на пол: передо мной на стуле сидел, оживленно продолжая свой рассказ, уже не карла, а буфетчик из-за стойки. Его щеки в волнении рассказа надувались, золотая цепочка на жилете мерно покачивалась, а сзади, опираясь на спинку стула, стоял страшный билиардщик, курил трубку и молчал.

Я не мог понять, как и когда произошла эта замена. Почему? Каким образом? В висках у меня стучало, а буфетчик, раскачиваясь, продолжал между тем свой рассказ.

«Стали примечать, что любил, значит, он, немец, в ясный безоблачный день, чтобы ему в садике посеред малинника чай собрали, и выходил он к чаю в синем халате и с трубкой. Садился это, значит, в кресло, набивал трубку табачищем и начинал из нее разные кольца и финтифлюшки из табачного дыма выдувать. Понатужился, это, немец, и глядишь, из трубки дымище этот самый вылезает, словно как бы калач, али, словно бутылка, али как бусы, а то и незнамо что... Вылезет и кругами ходит, растет, раздувается и вдруг потом прямо в небо облаком уходит и плывет себе, как настоящая божья тучка.

Посидит, бывало, этот немец за чаем часика два и все небо, сукин сын, испакостит. Все небо от евойных облаков рябью пойдет. А раз пропыхтел, это, он со своей трубкой целый день и к вечеру из его проклятых туч даже дождь пошел желтый, липкий, как сопля, и табачищем после этого дождя его от всякой лужи за версту несло... Только ему это даром не прошло... Уж очень много он из себя этих облаков-то повыводывал, нутро свое израсходовал и в успенском посту, как раз в пятницу, поднялся, это, значит, здоровый ветер, да как этого самого немца со стульчика-то сдунет, потому в нем веса-то никакого не осталось, да как перышко кверху и потянет. Немец руками и ногами болтыхается... Куда тут, подымает его все выше и выше... Народ собрался; хотели в набат ударить, да только отец Василий запретил святые церковные колокола по такому плохому делу сквернить и высказался, что «собаке и собачья смерть». Так, значит, и пропал немец-то в поднебесье».

«Так вот-с, молодой человек,— сказал на этот раз уже мой страшный противник, отрываясь от трубки и пуская клубы дыма,— эта трубка-то, она самая и есть».

Я пришел в оцепенение, не зная, принимать ли слышанный рассказ за чистую монету или за дьявольское наваждение, а карла с хохотом выбежал в дверь.

К счастью, мой столбняк продолжался недолго, и я, выскочив на улицу, успел заметить, как старик повернул налево за угол.

Через минуту я подбежал к углу и заметил вдали сгорбленную спину уходящего вдаль карлика. Я прокрался в тени забора, с бьющимся сердцем выслеживая своего противника, ища найти хоть какую-то нить, ведущую к прелестной незнакомке.

Перебегая от угла к углу, боясь быть обнаруженным, я не раз, казалось, терял его то в изогнутых переулках около Плющихи, то идя по набережной по пути к Потылихе. Однако всякий раз замечал в отдалении сгорбленную спину и снова устремлялся в преследование.

Мы вышли к пустырям на задах Новодевичьего монастыря. Вечерело. Сизая дымка тумана, поднимавшегося с прудиков у монастырских стен, застилала крепостные башни. В воздухе на красном закатном небе кружились с криком гигантские стаи тысяч ворон... мне казалось, что сейчас, именно сейчас произойдет что-то необычайное, страшно необычай-

ное... Сутуловатая фигура старика, пробиравшаяся среди зарослей бурьяна, начала плясать в моих глазах...

Однако ничего не случилось, и, как только вышли на берег против устья Сетуни, старик подошел к небольшой группе домов, остановился, вынул из кармана ключ, отпер дверь и вошел в дом. Через несколько минут в одном из окон второго этажа загорелся свет.

Я подошел почти вплотную к домику и, чтобы не привлекать ничьего внимания, залег в заросли крапивы, ошпарив изрядно левую руку. Лежал, не спуская глаз с двери и засветившегося окна. Было видно, как человеческая фигура ходила по комнате и тень ее пробегала по потолку. Потом задернули занавеску.

Сумерки сгущались. Вскоре стало совсем темно. Я лежал в своей крапиве, как заговоренный, не имея сил встать и чего-то ожидая.

Не знаю, долго ли пролежал я у таинственного дома, если бы меня не вывел из оцепенения женский голос, раздавшийся совсем рядом со мной.

«Гляди-ка, тетка Арина, у табашника-то свет зажжен».

«А ну его, плюгавого, к бесу».

Две бабы, громахая ведрами, прошли к Москворечью. Я поднялся и пошел домой, обессиленный, взволнованный необычайно.

Теперь сижу и записываю в свою тетрадь события безумного дня, и мне кажется, что из темного угла карла смотрит на меня, прищутив один глаз и посаывая свою трубку.

Жутко и сладостно. Завтра, чуть свет пойду караулить старика.

13 мая 1827 года

Краска стыда заливает мои щеки, а я тем не менее ничего не чувствую... Словно какая-то струна оборвалась в моей груди и ничего нету... Придя вчера за полночь из-под Новодевичьего, весь грязный и измученный, я сел в кресло, твердо решив не раздеваться и ждать рассвета. Однако, записав несколько страниц в своем журнале, не мог преодолеть усталости.

Утром проснулся я от стука в свою дверь и увидел всклокоченную голову Емельяна и около него босоногую девчонку с письмом в руках.

Письмо было от Верочки, и я вздрогнул, узнав знакомый лиловый конверт, заклеенный зеленой облаткой... Однако вместо радости ощутил скорее некоторую досаду из-за разрушения моих намерений.

Верочка писала, что в данковскую усадьбу дошли слухи о моем нездоровьи, ее беспокоившие, и она поспешила приехать со своей матушкой в Москву, тем более что приданое белье все уже перешиито, а подвенечное платье решили делать в Москве у мадам Демонси на Кузнецком.

Еще месяц назад напоминание о предстоящей моей свадьбе и приезд невесты наполнили бы меня радостью бесконечной, а теперь...

Я стоял около ее кресла с шапкой в руках, не зная, куда деть руки и что ей сказать... Вначале она вся раскраснелась от счастья и щебетала, как канарейка, потом ее сверкающий взгляд начал потухать... Она взяла меня за обшлаг рукава и замолчала... Вместо того чтобы поцеловать как прежде, как всегда, розовые ногти ее руки, я почему-то стал ругать мадам Демонси и настаивать на том, что мужские шинели шьют обычно у Лебура...

...У нее на глазах показались слезы... Она пыталась что-то сказать об усадьбе, остроенной для ее приданого, но не кончила, расплакалась и убежала. В глубине комнат послышались ее рыдания... и тотчас зашлепали, приближаясь, чьи-то козьи ботинки... Я не стал ждать появления их обладательницы и, махнув рукой, вышел из дому... Заметил только почему-то в прихожей знакомую Верочкину картонку для шляп и рядом кадушку с медом... почему-то они меня потрясли, и сейчас вот вижу их перед глазами, а в душе пустота. Шел, как каменный... Как каменный, бродил под Новодевичьим, как каменный, тщетно лежал у карлова дома в крапиве и вот сейчас пишу и ничего не чувствую... хотя ясно мне, что произошло что-то гадкое, непоправимое.

Емельян говорит, что Горелины тотчас же после обеда заложились и уехали назад в Данков.

Но что же я могу сделать, она владеет всеми помыслами и всеми чувствами моей души, она одна... Бедная, бедная Верочка! Особенно жалко мне тебя, когда вспомнил я твою шляпную картонку, всю запыленную и так и оставленную, наверно, не раскрытой... Но что же я могу сделать, что?

5 июня 1827 года

Я безумствую, я сам чувствую, что начинаю сходить с ума... Судорожно сжимаю руки и хватаю пальцами пустоту. Я уже пять раз видел ее, но чего это мне стоило, к чему это привело...

Родственники мои обеспокоены, держат меня в наблюдении. Сначала зачастил ко мне дядюшка Евграф, пока его зеленая со шнурами венгерская куртка, сизые подусники и висящая на нитке полуоторванная пуговица верхнего кармана не привели меня в неистовство и я не наговорил ему дерзостей.

Не медля, на моем диване появилась вздыхающая Евпраксия Дмитриевна, нестареющая прелестница пудов на восемь весу, та самая, которой мы в детстве так любили на сон грядущий класть под одеяло сливочные тянучки и турецкий рахат-лукум. Затем из облаков московского Олимпа выплыл сам князь Борис... И, как бы невзначай, чуть ли не каждый день, стал забегать на две понюшки табаку добрейший Карл Августович, наш медикус и светило.

Не имея, по причине субординации, никакой возможности отделаться от непрошенных гостей, я начал было вояжировать через окно бу-

фетной комнаты к Евсегнеевым на двор и по задам к Сивцеву Вражку, но окончательно сгубил этим делом свою репутацию; был выслежен, и Евсегнееву приказано было спустить с цепи Полкана.

Пути отступления сузились, и далеко не каждый день мог я добраться до своей заветной крапивы. Да и лежа в своей крапиве, я был обречен на отчаяние и терзание...

Часто я целыми днями лежал бесцельно, дверь не отворялась, дом, казалось, был пуст и вечером в окнах не зажигалось света.

Иногда неожиданно, часто уже совсем к ночи, запотелые окна освещались, и я мог видетьдвигающиеся тени... Чьи? Сердце мое пыталось разгадать это.

Иногда же, и не было тогда пределов моему счастью, дверь отворялась. Сгорбленный карла, без шапки, с горящими глазами выходил и останавливался в ожидании, и через минуту... как бы не замечая его, выходила она, всегда неожиданная, всегда прелестная... всегда в том же платье со сверкающим ожерельем.

Проходила мимо, совсем близко от моей крапивы, улыбаясь неизвестно кому, и карлик сопутствовал ей в отдалении, перебегая улицы нервной походкой, оборачиваясь, задыхаясь...

Желая разгадать тайну, страшась быть обнаруженным, я выслеживал их с осторожностью необычайной, следуя за их шагами из-за угла и перебегая за ними к новому углу только тогда, когда и девушка, и старик скрывались за поворотом.

Так шли мы из улицы в улицу. И чем ближе мы приближались к центру, тем труднее становилась моя погоня, и я с трепетом всматривался в прохожих, боясь встретить знакомых и поразить их своею стремительностью.

Однажды, когда я перебежал через Знаменку, чья-то рука крепко схватила меня за плечо. Я обернулся, чтобы оттолкнуть нападавшего, и увидел самого князя Бориса, побагровевшего от ярости и шипящего сквозь зубы свои французские проклятия.

Но что все это было по сравнению с тем, что я видел в своем преследовании, что повергало меня в ужас, чего не мог постичь мой мозг.

Мои преследования, если я их доводил до конца, всегда оканчивались одним и тем же.

Когда подбегал я к последнему повороту, я всегда видел спину остановившегося в замешательстве карла и ничего больше... Незнакомка исчезала без следа. Она не могла войти в какой-либо дом, потому что ее исчезновение совершалось в разных частях Москвы. И что всего удивительней — исчезновение это было, очевидно, неожиданно для самого ее охранителя.

Старик обычно останавливался, как вкопанный, стоял некоторое время, потом горбился еще более и с хмурым видом поворачивал назад... а я бежал, чтобы не попасться ему на дороге. Забирался в ка-

кой-нибудь кабак и в ужасе восторга и отчаяния забывался в винных парах, ища в опьянении удержать в своем зоре тонкую линию шеи и пряди волос, стелющиеся по ветру...

13 июня 1827 года

Я не могу больше... Мозг мой немеет... В глазах все застилается дымкой... Я должен раскрыть эту тайну или должен погибнуть, потому что я дошел уже до черты.

Сегодня, часов в пять, мне удалось в первый раз за всю неделю победить бдительность моих сторожей и, стравив приставленного ко мне кузена Кондаурова в пикет с добрейшим Карлом Августовичем, я прямо без обиняков выбежал через парадное крыльцо на улицу, вскочил на проезжавший наемный колибер и бил несчастного Ваньку по шее до тех пор, пока всякая опасность погони исчезла.

Передо мною стояла новая задача... Я решил проследить, что делает старик после того, как девушка исчезает.

Мне повезло. Не успел я вылезти из своего овражка в крапиву, как в одиноком доме заскрипели ступени, открылась дверь и всклокоченный старик пропустил Юлию, я был сегодня уверен, что ее зовут именно так.

Я последовал за ними на этот раз по направлению к Плющихе, мы вышли к Москва-реке, шли по Садовой, шли по Кречетникам, и за углом у Спаса, около Коковинского дома девушка исчезла.

Старик, как обычно, постоял некоторое время на месте и потом с опущенной головой поплелся назад. Я спрятался за церковным крыльцом и, когда он проходил мимо, слышал, как вздыхал он со стоном и скрипел зубами... Скоро я понял в своем преследовании, что направлялся он прямо домой, и, действительно, вскоре он отпер большим ключом дверь одинокого домика и через минуту в окне затеплился свет и забегали тени... Я залег в крапиву, не имея сил уйти, очарованный движением мигающих теней... Через полчаса свет внезапно погас... заскрипели ступеньки, карла вышел на улицу и (мозг мой теряется, руки вновь начинают дрожать) в открытую дверь вновь показалась мне незнакомка. Вновь засверкала ее ожерелье, вновь улыбалась она кому-то, проходя мимо моего логовища.

Я следовал за ними недолго, в Ростовских переулках она пропала, а через час в лунном свете осенней ночи она вновь в третий раз вышла из одинокого домика у Девичья монастыря на берег Москва-реки... Я не имел сил следовать за дьявольской четой и, потрясая кулаками и призывая небо в свидетели, всю ночь пробегал по московским улицам, пока не наткнулся на Кондаурова, также всю ночь бегавшего по Москве в поисках за мною.

14 июля 1827 года

Я рассказал им все... Я не мог больше скрывать. Мы варили пунш. Послали за Протыкиным, и я, дрожа от волнения, увлажняя горячей влагой пересыхающее горло, день за днем, шаг за шагом, рассказывал им свои терзания, а Протыкин клялся в том, что каждое слово мое — святая истина.

Карл Августович поминутно хлопал себя по коленям и восклицал «Ach! Mein Gott!»¹. А Кондауров, дымя конногвардейской трубкой, ходил из угла в угол так, что трещали половицы, и чертыхался, как два эскадрона на плохом постое.

К утру они поклялись выручить меня и, если нужно, силой раскрыть дьявольское наваждение... Светает... Тушу свечу и хоть немножко засну перед решительными событиями...

16 июля 1827 года

Насколько моя память могла сохранить стремительность событий, все произошло так... Должно быть, так... Протыкин и Ванька Кондауров выскочили из своей засады прямо на карла. Юлия даже не обернулась на поднявшийся крик и, как сомнамбула, неизвестно кому улыбаясь, продолжала свой путь.

В два прыжка я был около нее... Дрожь охватила все мое тело, и какой-то дьявольский трепет наполнил душу... Она была прекрасна как никогда, сверкающее ожерелье поднималось на мерно дышащей груди, и линии тела сквозили сквозь складки легкого платья... Я сорвал с головы своей цилиндр и бросил его далеко прочь. Шел почти рядом с ней, и все кругом наполнялось биением моего сердца... Сначала молчал, потом начал говорить что-то бессвязно, прерывно. Она заметила меня, наклонила голову и улыбнулась.

Мы вышли к стене Новодевичьего, туда, где аллеи лип спускаются к прудам... Какие-то птицы кружились между ветвей... Я взял ее за руку, холодную как лед... Она остановилась, посмотрела на меня влажным, невидящим взором, улыбнулась и протянула ко мне свои руки.

Не помня себя, я схватил ее в свои объятия и губами коснулся ее холодных губ.

В тот же миг, как бы в порыве ветра ее волосы взвились куда-то; глаз, бывший перед моим глазом, куда-то дернулся в сторону, мои руки упали в пустоту, упал бы, наверное, и я, если бы чья-то рука не схватила меня за воротник.

Когда я очнулся, передо мной стоял батюшка и тряс меня за шиворот... А сзади Емельян еле сдерживал взмыленного Замира.

А теперь, вот уже второй день, я сижу на ключе... Батюшка гневается... Трясущийся от страха Карл Августович ставит мне к затылку крово-

¹ Ах! Боже мой! (нем.)

сосные банки, и за дверью слышно, как Евпраксия Дмитриевна поговаривает о горячечной рубашке... Меня бьет лихорадка.

Но клянусь всеми святыми, что я разрушу эти дьявольские козни и спасу Юлию. Мою околдованную невесту. Мою единственную, мою вечную...

18 февраля 1828 года

Уже второй день, как я могу сидеть в кровати и даже писать. Кругом все тихо... уже давно февраль. В окно видно, как галки скачут на снежных сугробах, и тишина данковских Палестин, как целительный бальзам, врачует мою душу.

Верочка не отходит от меня... Поправляет мне подушки, приносит чай и читает мне вслух похождения Телемака... Милая девушка презрела все сплетни и московские толки и как обрученная невеста выпросила у батюшки сопровождать меня в данковскую деревню. И вот, благодаря ей, я поправляюсь... Кругом все тихо... Слышно, как в столовой тикает маятник английских часов да скрипят половицы, когда кто-нибудь идет через залу.

Я знаю, что стоит мне дернуть за сонетку, Верочка положит на стол свое вязанье (она сидит в столовой у окна), отворит дверь и придет ко мне... поэтому все так спокойно, так безмятежно... Милая девушка, родная моя голубушка, как я тебе благодарен.

Сегодня я выпросил у нее свои тетради и, найдя дневник своих ужасных дней, вновь содрогнулся. Но хочу все же закончить эту грустную повесть и вот пишу.

Хватило бы только силы собраться с мыслями. Мои записки прерываются в тот самый день, когда я, запертый батюшкой, сидел в своей московской комнате и обдумывал способы освобождения Юлии от власти старика, несчастного старика, всю меру трагедии которого я не мог тогда и подозревать.

В ту же ночь я вырезал при помощи алмаза, бывшего в перстне, подаренном мне еще в детстве покойным дедушкой, стекло из рамы, отвинтил ставню и, сжимая в своих дрожащих руках кинжал и длинноствольный пистолет, еще задолго до полуночи был уже под Новодевичьим.

В домике света не было, все было пусто. Я дрожал в своей крапиве от пронизывавшей осенней сырости и хотел уже ломать дверь и силою проникнуть в дом Юлии, как вдруг в ночной тиши услышал знакомые стонущие вздохи... Старик возвращался домой, очевидно, после прогулки по Москве вслед за исчезающей Юлией... Со скрипом отперся и снова заперся дверной замок. Вскоре в знакомом окне второго этажа затеплился свет. Я встал со своей крапивы, поднял тесину с мосточка, перекинутого через овраг, приставил ее к крыльцу и с возможной тихостью,

засунув пистолет за пояс и закусив в зубах лезвие кинжала, влез по доске сверху и прильнул глазами к окошку.

Диковинное, незабываемое никогда видение открылось мне сквозь запотелое стекло. Вся комната была завалена книгами, медными инструментами и табачными трубками. Старик сидел в углу на низком диване и ожесточенно курил... Из глубины его трубки невиданной спиралью поднимался необычайный дым — густой, светящийся.

Судорожным напряжением щек старик выдувал из трубки огромные клубы дыма, которые то волчком крутились по комнате, то кольцами плавали в воздухе, бесследно рассыпаясь, то, возникая столбом, крутились по полу.

Вдруг я стал замечать, что в своем неистовом вращении клубы дыма, сцепляясь и расцепляясь, начали принимать форму человеческой фигуры... В бешеном вращении стали намечаться голова, плечи. Но они не понравились, очевидно, старику. Он поднял длинный вишневый чубук и ударил по дымовой статуете... Она распалась, и только мелкие обрывки дыма волчками побежали по полу.

Старик снова набил трубку, и снова завертелись клубы дыма, снова выросла табачная статуя, все более и более... Мгновение, и я весь задрожал — из дымовых струй возникли очертания Юлии, очертилось знакомое плечо, засверкало ожерелье, волосы шевелились в дуновении вихря. Юлия вздрогнула и стала быть.

Я готов был вернуться в комнату, но старик вдруг дико захохотал и ударил ее по голове своей трубкой. Видение рассыпалось, и я, в ужасе содрогнувшись, сорвался с подоконника и полетел вниз.

Надо думать, что при падении я потерял сознание, потому что все последующее я помню отрывочно и не вполне ясно.

Очнулся я от стука двери... Как в прошлый раз, как в двадцать прошлых раз, Юлия вышла и направилась к Москве, и старый карла заковылял за ней.

Вскоре они скрылись за углом дома. Я не последовал за ними, но вновь поднялся наверх, выдавил стекло и в каком-то пароксизме безумия ворвался в комнату. Начал разбивать трубки, рвать листы книг, ломать инструменты, топтать ногами, дико хохоча и рвя на себе волосы... Мое бешенство кончилось только тогда, когда застучала дверь и на лестнице послышались торопливые шаги. Я выскочил в окно и, должно быть, упав на землю, снова лишился сознания.

Когда сознание вернулось ко мне, дом пылал, как костер, а вдали среди ив по направлению к Новодевичью бежала, согнувшись в три погибели, знакомая старческая фигура. Я последовал за ним, прихрамывая, потому что поведил при падении ногу.

Старик бежал прямо к Пречистенской башне, его стон был слышен далеко издали, но, однако, он не поднялся к липовой аллее, ведущей от пруда к стенам, а подбежал к самой поверхности воды. Я подумал, что

он хочет топиться, и ускорил шаги, поскольку мне это позволяла волочившаяся нога.

Уже светало. Предрассветный туман белесоватым платом висел над водой, последние листья деревьев шорохом отвечали порывам ветра... Старик пропал... Я долго искал его у пруда, и наконец, когда уже почти совсем рассвело, увидел, что его следы подошли к каменному водостоку, ведущему внутрь монастырской ограды... Отверстие водостока было очень широко, и я на четвереньках свободно последовал вслед за отпечатками следов... Гнилой запах водостока душил меня, колени скользили в какой-то слизи, но я полз...

Верочка запрещает мне писать, утверждает, что у меня воспалились глаза и началась лихорадка. Что делать, таковы законы моего пленительного плена. Подчиняюсь, буду слушать похождения Телемака и дремать...

22 февраля 1828 года

Продолжаю. Когда я вылез из водосточной трубы, то оказался на кладбище. Стариковских следов не было видно, так как кругом была желтая трава. Я начал бродить среди могил, весь дрожа от лихорадки и пережитого волнения... Боль в ноге усилилась, ныло плечо... Я уже отчаялся и хотел искать выхода, когда вдруг услышал сдавленные рыдания. Прислушался и пошел по направлению звуков... Вскоре я мог уже различить его фигуру... Он лежал, содрогаясь рыданиями, на большой могильной плите. Я подошел поближе... Жалкий старик, схватившись обеими руками за голову, припав лицом к старому, покрытому мохом камню, рыдал в последнем отчаянии.

Я подошел вплотную к могильной плите, и кровь застыла у меня в жилах. Посредине плиты был вырезан на камне круглый медальон... Это был удивительный по искусству барельеф, изображавший женский профиль... Я затрясся всем своим существом — это был портрет той, которая еще так недавно рождалась в клубах табачного дыма и исчезала на перекрестках московских улиц. Я понял все и упал без чувств.

Утром батюшка разыскал меня почти бездыханного среди могил Новодевичья монастыря, около плиты, все подписи которой и барельеф были изрублены и уничтожены тут же валявшимся топором... около плиты рос большой старый вяз, на суку которого висел, качаясь от ветра, повесившийся старик.

И сколько он не сто... Верочка требует, чтобы я сжег все эти бумажки и забыл своего старика и Юлию... Подчиняюсь тебе, моя славная девочка, моя женушка, и в руки твои отдаю вместе с тетрадью этой и всю мою будущую жизнь.

ИЗ «ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЯ»¹

Еще не так давно на задворках Никольской улицы, у самой Китай-городской стены, около лестницы, ведущей к Первопечатнику, ютилось несколько книжных лавчонок.

По Московской иерархии они стояли далеко не на первом месте. Это были не только не «антикваритеты» в стиле Шибанова или Фаддеева, но даже не букинисты, а просто торговцы всяким книжным старьем.

Однако, для нас, московских книголюбов, этот уголок был особенно приятен. Отчасти потому, что он сохранил своеобразный стиль старой Москвы, а главное — потому, что там, среди всякого запыленного книжного хлама можно было изредка найти действительно «случайно» книгу. После томительного блуждания пальцев по «Потопам» Сенкевича и разрозненным томам полных собраний сочинений Вы могли наткнуться на 39-й том «Российского Фиатра» или на первое издание «Грациана Балтазара», посвященного Иоанну Антоновичу. Говорили даже, что один провинциальный собиратель купил в одной из этих лавчонок «должности братьев красно-розового креста» со вложенной в ней в качестве закладки половиной титульного листа легендарного новиковского «Магикона».

Для меня этот уголок особенно приятен потому, что именно здесь нашел я рукопись «Венедиктова», создавшую целую эпоху в моем собирательстве всего, относящегося до Старой Москвы.

Для нас, старых москвичей, влюбленных в наш изумительный город, каждый «московский памятник» представляется целым событием.

Нам кажется как-то особенно значительным и рев гудков московских фабрик, и ночные перезвоны часов Спасских башен, и вздымающиеся ввысь громады строящегося Телеграфа, и Троекуровский дом в Охотном ряду, и, особенно, сверкающий ночью над кремлевскими зубцами красный стяг над казаковским куполом здания Совнаркома.

Эта влюбленность в быт и городской ландшафт современной изумительной пролетарской столицы мира заставляет любить и тени ее прошлого, пытаясь по остаткам каменных стен, обрывкам пожелтелых рукописей и по старым книгам восстановить былую жизнь этого вечно мятетного и вечно юного города.

В этом отношении уже немало достигнуто, и, если мы еще не имеем московских Гонкуров, некогда «создавших» прошлое другой мировой столицы — Парижа, то все же книги о Москве насчитывают многие сотни названий. Мы хорошо знаем по трудам Забелина, Мартынова и других историческую топографию московских урочищ, историки искусства с излишней, пожалуй, дотошливостью знакомят нас с памятниками ба-

¹ В публикации сохраняется авторское написание.

рокко и ампира, а географы и историки быта во главе с Бартеневым и Пыляевым дали нам немало для изучения людей круга Хераскова, Новикова, Карамзина, Пушкина, Огарева и Герцена.

Однако, мною, по крайней мере, всегда ощущалось отсутствие среди этих научных и достоверных изысканий — доподлинно московской фантастики.

Совершенно несомненно, что всякий уважающий себя мировой город должен иметь некоторую украшающую его Гофманиаду, некоторое количество своих «домашних дьяволов», подобно тому, как всякий европейский прилично одетый джентльмен имеет в петличке своего листа на какой-нибудь цветок. Без этого «самый респектабельный вид» будет немного пресноват и скучен.

Вот именно с этой-то точки зрения я и считаю находку клеенчатой школьной тетради, страницы которой были исписаны главами «Венедиктова», доподлинно счастливым днем моего собирательства по Москве.
<...>

Рукопись в клеенчатой тетрадке была выдержана в той же манере, но в ней авантурные невероятности были увязаны хорошим запасом московской древности и языком 1790-х годов.

Немного неприятны были некоторые чрезмерности, разбивающие всякое правдоподобие, вроде забеременевшего от Месмерова гипноза полковника и других явных издевательств над доверчивым читателем.

Однако, все же это было именно то, что надо, и я, не помышляя о нарушении авторских прав, отнес тетрадку на Пятницкую, в «Первую образцовую» и выпустил ее в свет, имитируя внешность первых номеров «Отечественных Записок».

Несмотря на самые тщательные поиски, до автора я так и не добрался, а вскоре работы над теорией сельскохозяйственной таксации заставили меня забыть о романтических листах.

Однако, в 1923 году, в Берлине, в сутолоке Тауэнциенштрассе, в сверкающих огнями витро книжного магазина увидел я синюю обложку «Зеркального человека».

До сих пор у меня нет уверенности в подлинности этой книги. Возможно, что это довольно ловкая имитация. Какой-то неприятный, неврастенический психологизм пропитывает эту книгу, блестяще изданную «Геликоном». Какая-то неприятная курфюрстердамская эротика и кинематографический фильм искажают здесь обычно спокойно эпические формы «ботанического» повествования. Хотя нужно признать, что этот психологизм весьма верно передает настроение предреволюционного поколения, литературно воспитанного на «Весах», этом удивительнейшем для своего времени творении Полякова и Брюсова, а некоторые

места вроде рассвета на капустных огородах под Симоновым или описание мещанского дворика за Москва-рекой написаны не без подлинного чувства Москвы.

<...> Наконец, в 1924 году я неожиданно получил по почте толстый пакет с марками Британской Колумбии и штемпелем Ванкувера. В нем оказалось письмо, написанное на испанском языке, до сих пор мною за отсутствием переводчика не прочитанное, и целый ряд рукописей, исписанных знакомым бисерным почерком автора «Венедиктова». Это была повесть о Бутурлине или, скорее, схема большого романа о нем и ряд неоконченных отрывков других вещей. <...> При всем своем литературном хулиганстве, часто проходящем в издевательство — в виде, например, «мистических» форм приговора иллюминатов, повесть эта едва ли не наиболее московская из всего «ботанического» творчества.

Остальные отрывки представляли собой неоконченные рассказы и наброски: то совершенно невероятное повествование об отрубленной голове, найденной в отрицательных этажах доходного дома на Бронной, то рассказ о московском маркизе XVIII века, перенесенном в Советскую Россию и вынужденном поступить на службу бухгалтером в Краснококшайское отделение Госторга.

Одну только «Юлию, или Встречи под Новодевичьим» удалось мне после значительных трудов реставрировать до некоторого связного целого. <...>

Немного останавливало некоторое несоответствие неудержимой фантастики и чертовщины трезвому и реалистическому стилю наших дней. Но если поразмыслить в спокойности, то ведь придется, пожалуй, сознаться, что правы те иностранные путешественники, которые, побывав в современной Москве, склонны обвинять нас в слишком уж большой и постоянной серьезности. В самом деле, отчего после томительного заседания на согласительных комиссиях и ночной работы над перспективным планом какого-либо предприятия не почитать на сон грядущий взамен переводных мещанских романов авантюрные похождения московских петиметров? А к тому же, если сейчас издают и читают гоголевский «Нос», в Музее изящных искусств вереницей экскурсии глубокомысленно рассматривают всякую чертовщину, сверкающую красками на полотнах старых мастеров, а в Большом театре ставят «Фауста» и «Сказку о царе Салтане», то почему бы и вам, читатели, не почитать ботаническую «Гофманиаду»?

Профессор А. В. Чаянов

*2 декабря 1926 года
Петровское-Разумовское*

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ХУДЯКОВ

/СТРАНИЦЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ/

В те годы, когда наша Академия называлась Московским Сельскохозяйственным Институтом, физиологи растений читали на втором курсе. Второй курс был в наше время наиболее академическим, наиболее отвлеченным и теоретическим из всех курсов. Поскольку в первый год пребывания в Академии студенты еще только осваивались с формами научной мысли, впервые знакомились с лабораторными занятиями, постольку же, вернувшись после первых летних студенческих каникул и несколько упорядочив за лето свой научный багаж, они возвращались к началу занятий второго курса с самыми «серьезными» намерениями по части науки. В наших тетрадях и записных книгах стоял целый ряд проблем и вопросов по самым основным и глубоким темам естествознания, с огромными вопросительными и восклицательными знаками, и мы, приезжая осенью в покрытое золотом осенних листьев Разумовское, были готовы глядеть в корень вещей и решать все основные проблемы мироздания.

И вот в таком настроении, в одну из первых недель после начала занятий мы попадали в старую ботаническую аудиторию на первую лекцию Николая Николаевича. Для нас всех эта первая лекция была каким-то откровением. Всегда казалось, что именно тут-то впервые перед нами раскрывается живая, действенная, творящая наука. Меткие парадоксы, острая постановка вопросов, отрицание, казалось бы, самых неизбежных истин и смелые, почти дерзкие гипотезы потрясали наше юношеское сознание. Словом, когда мы уходили из этой аудитории, нам казалось, — вот, наконец, мы нашли ту дверь, через которую входят в подлинный, действительный храм науки. Таковы были ощущения всех студентов. Однако только немногие, в том числе автор этих строк, испытали действительно большое счастье не только увидеть на лекциях эту открытую дверь в храм науки, но и войти в нее и около года проработать под непосредственным руководством Николая Николаевича в лаборатории.

Я отчетливо помню тот вечер, который должен считать вообще началом своей не ученической, а ученой жизни, когда я впервые почувствовал, что передо мною стоит подлинный учитель мысли, исследования, который на всю жизнь определил путь моей научной работы.

Это было, если не ошибаюсь, в ноябре или декабре. После обычных практических занятий по бактериологии, отложив в сторону чашки Петри с чистыми культурами бактерий, небольшая группа студентов почему-то задержалась в лаборатории. Николай Николаевич, очевидно, был

свободен в этот вечер, и между нами завязалась сначала почтительно-ученическая с нашей стороны, а затем и бурно-полемическая беседа на тему о сущности науки и об абсолютной истине научных законов. Мы, естественники по образованию и агрономы по своим будущим планам, мало соприкасавшиеся с философией и вообще гуманитарными науками, стояли, естественно, на базе наивного реализма и считали каждый научный факт непреложной истиной, почти что откровением свыше. И вот, вдруг, из уст одного из доподлинных и величайших в нашем представлении ученых нашей Академии мы услышали целый ряд скептических заявлений, впервые услышали имена Авенариуса, Пуанкаре и Маха, тогда особенно модных в научных кругах философов, и впервые стали перед лицом проблемы о сущности научного знания.

Минуты шли за минутами, было уж очень поздно, а мы все еще волновались, все еще пытались отстаивать свои наивные позиции под саркастическими ударами нашего мэтра. А когда едва ли не последний паровичок увозил меня после этой беседы из Академии в Москву, я буквально дрожал от охватившего меня волнения по поводу раскрывшихся передо мной философских горизонтов. Эту беседу с Николаем Николаевичем я должен считать самым значительным событием моей научной жизни, целиком определившим все направление моей будущей деятельности и заставившим меня вместо планов широкой практической деятельности направить русло своего жизненного пути в сторону науки. С исключительным волнением на другой день я входил в Бактериологическую лабораторию и весь даже покраснел от радости и внутреннего волнения, когда Николай Николаевич, заинтересовавшись, очевидно, моим юношеским пылом, предложил мне взять какую-нибудь тему для индивидуальной работы по физиологии растений. Я, конечно, согласился без всяких размышлений и через несколько дней начал работать над изучением влияния различных питательных веществ на развитие и, главным образом, на дыхание *Vicia Faba* в условиях стерильной культуры: я начал набивать песком огромные банки, закрывать их гигантскими пробками, заливать сургучом, гнуть трубки, налаживать анализ для изучения газового обмена и на время превратился в слесаря и стеклодува, вначале коряво и весьма неумело komponуя очень сложный прибор. Николай Николаевич всегда находил, что научные опыты могут быть доведены до успешного конца только при непременном условии, когда ученый сам конструирует свои приборы, когда он сам почти из первоначальных материалов создает сложные металлические и стеклянные аппараты. По своему опыту должен сказать, что идея, может быть, и парадоксальная, безусловно является колоссальным педагогическим орудием в отношении молодых ученых, так как глубокое понимание действия

аппарата возможно только тогда, когда сам его сконструируешь и при этом сконструируешь хорошо.

Я никогда не забуду первого же урока в этой плоскости, который мне дал Николай Николаевич недели через три после начала моих работ. С большим трудом, затрачивая целые дни, я сконструировал, если не ошибаюсь, восемь огромных стеклянных банок для стерильных культур, приготовил их к засеву, стерилизации и с большой гордостью продемонстрировал их своему мэтру. Однако Николай Николаевич нашел, что мои аппараты никуда не годятся.

— Почему, — спросил я с большим изумлением.

— Все ваши воздухопроводные стеклянные трубки согнуты под разными углами: это некрасиво, неэстетично, а работая с неэстетичным прибором, нельзя получить хороших научных выводов, — не то смеясь, не то всерьез, а на самом деле действительно всерьез, сказал Николай Николаевич. Пришлось разобрать все уже собранные приборы и почти заново начать их сборку; зато, когда они были закончены, все восемь банок, со всеми металлическими изогнутыми трубками были как будто бы вылитыми из одной формы, и отогнуты вводящие и выводящие стеклянные трубки были строго параллельно друг другу во всех рядом стоящих аппаратах.

Я работал у Худякова около полутора лет. Это было едва ли не наиболее блестящее время нашей лаборатории. Генерозов стремился в это время найти чистую культуру бактерий, которые бы усваивали углерод, поглощая алмазную пыль.

Яков Никитинский-младший искал бактерии, которые бы дышали водородом, а изредка заглядывавший к нам Ховренко пытался в культурах дрожжей разгадать тайну тонкого букета токайских или каких-то других вин. А над всем этим царил наш мэтр, всегда остроумный, всегда парадоксальный, умеющий придать каждому своему замечанию исключительную значительность и отточенную остроту, воодушевить нас, поставить перед нами вопрос в совершенно опьяняющей и волнующей неожиданности и дающий с такой расточительностью новые идеи, что почти каждый вечер, возвращаясь домой, хотелось их записать в какой-либо дневник или записную книжку.

Быт нашей лаборатории был какой-то классически-академический, не лишенный некоторой анекдотичности. Достаточно теперь вспомнить, как, например, для того, чтобы позвать старшего сторожа, нам нужно было пройти в правый угол комнаты и три раза постучать ногой в пол, после чего, как некий дух, стремглав по лестнице из подвала, появлялся наш добрейший служитель, всегда обеспокоенный, всегда озабоченный, придававший фаустовский колорит всей нашей обстановке.

Увы, в этой же лаборатории, где я начал свою биохимическую карьеру, я получил оглушительный удар, заставивший меня навсегда отказаться от работы в этой области. Однако в этом ударе Николай Николаевич был совершенно ни при чем.

Мои опыты приняли какие-то невероятные формы: несчастные *Vicia Faba*, растущие в моих банках, все покрывались какой-то воздушной коркой, давали морфологические изменения в своих листьях, и казалось, что за зеленоватым стеклом творится какая-то ботаническая гофманиада. Ни я, ни наш мэтр ничего не понимали и раз даже обратились за советом к соседям; поднявшийся на хоры, где стояли мои опыты, профессор С. И. Ростовцев, посмотрев на диковинные *Vicia Faba*, меланхолично сказал: «М-да...» и отказался прибавить к этому какое-либо другое замечание. Опыт ставился за опытом, у меня истощалось терпение, а *Vicia Faba* на вторую неделю чернели и погибали; кривая же выделения углекислоты чертила графики, решительно выходящие за пределы всякой возможности. Наконец Николай Николаевич решил взглянуть в корень вещей и попросил меня проанализировать все те химические вещества, из которых я составлял нормальную смесь для культуры. Я отсыпал из банок, на которых красовалась гордая надпись фирмы Кальбаума, в пробирки несколько кристаллов солей и отправился к другим соседям в лабораторию Д. Н. Прянишникова для того, чтобы сделать качественный анализ. Через десять минут не могло быть никакого сомнения в международном происхождении моей неудачи: по роковой и, очевидно, случающейся раз в тысячелетие ошибке в банку, на которой красовалась надпись «хлористый калий», была сортировщиком фирмы Кальбаума насыпана настоящая бертолетова соль, и все мои почти полуторалетние опыты, в сущности говоря, были опытами на тему о влиянии бертолетовой соли на жизнь растений. Именно в этом направлении Николай Николаевич и пытался меня ободрить: он утверждал, что это в высшей степени любопытные опыты, указывал даже на какие-то совершенно необычные научные проблемы, которые можно именно этими опытами решить, но добродушная улыбка виднелась где-то в уголках губ учителя, и я без шапки и без пальто убежал в парк и, пробродив в нем несколько часов, уже больше никогда не возвращался в биологическую лабораторию.

Эта неудача носила, конечно, эпизодический характер, и хотя я не достиг каких-либо научных результатов в лаборатории Николая Николаевича, тем не менее должен признать, что эти полтора года были именно той единственной школой исследования и научной мысли, которую я никогда больше нигде не видел и не встречал. И, задавая теперь вопрос о том, — почему же, собственно, эта лаборатория выделялась среди всех других и что, собственно, нас, молодых ученых, пленяло в обаянии

Николая Николаевича,— мы должны будем признать, что перед нами было два элемента, гармонически сочетавшихся в нем, это — исключительные обаяние и личная талантливость его как ученого и человека, которые к тому же сочетались со старой западноевропейской научной культурой. По своему стилю и по своим работам лаборатория Худякова была кусочком германской науки, и эта традиция столетий, сохранившаяся в германской науке еще с эпохи Эразма Роттердамского и первых деятелей Эпохи Возрождения, пропитала собой и стены и всех людей Худяковской лаборатории, а увенчанный гением мэтр создавал этот яркий образ храма науки, который у нас запечатлевался на всю жизнь.

[1927]

СОДЕРЖАНИЕ

Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей	4
Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека	21
Юлия, или Встречи под Новодевичьим	35
Из «Предупреждения»	55
Николай Николаевич Худяков	58

ЧАЯНОВ Александр Васильевич

РОМАНТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

Редактор М. М. Ж и г а л о в а

Составители М. О. Ч у д а к о в а, Р. М. Я н г и р о в

Технический редактор Т. Я. К о в ы н ч е н к о в а

Сдано в набор 3.04.89. Подписано к печати 26.06.89.
Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсет-
ная печать. Усл. печ. л. 2,80. Усл. кр.-отт. 2,98. Уч.-изд. л. 4,09.
Тираж 150000 экз. Зак. № 572. Цена 30 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография име-
ни В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП,
Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● В целях оказания родителям или другим родственникам школьника материальной помощи при наступлении несчастных случаев, которые могут произойти с детьми во время пребывания в школе, дома, на улице, даче, в пионерском или спортивном лагере и т. д., в общеобразовательных школах нашей страны проводится добровольное страхование школьников.

● Если Вы уплатите страховой взнос в размере 2 рублей, то школьник будет застрахован в страховой сумме 1000 рублей с 1 сентября по 31 августа.

● Более подробную информацию о страховании школьников от несчастных случаев, порядке выплаты страхового или разового пособия, страховой суммы Вы можете получить, обратившись в любую инспекцию государственного страхования. Там же Вы можете ознакомиться с полным текстом Правил страхования школьников от несчастных случаев.

**Правление государственного
страхования СССР**